

Основан
в 1967 году
Выходит
6 раз в год
Издательство
"Наука"
Москва

Научно-популярный журнал
Института русского языка
Академии наук СССР

Русская Зречь

1986 МАЙ · ИЮНЬ

В НОМЕРЕ:

РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНИ!

- 3 *И. Ф. Протченко.* В дружной семье народов и языков

К ДНЮ ПОБЕДЫ

- 9 *Л. А. Глинкина.* «Пишет домой война» (О письмах военных лет)

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 15 *В. Э. Вацуро.* Из записок филолога
23 *Р. Д. Тименчик.* Адмиралтейская игла
29 *М. Ф. Мурьянов.* Пушкин о Дельвиге

К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. Г. БЕЛИНСКОГО

- 33 *Л. Р. Ланский.* Белинский о слоге и слог Белинского
41 *Г. И. Довгалло.* В. Г. Белинский и наука о русском слове
49 *А. В. Огнев.* «Главный учитель родного языка — народ» (О прозе С. П. Антонова)
56 *В. И. Тищенко.* Автор «Слова о полку Игореве» в изображении советских писателей

КУЛЬТУРА РЕЧИ

- 65 *В. М. Дерibas.* Антигриппин, антикомарин...
68 *Э. А. Сорокина.* Межпозвоночный или межпозвоноковый?

- 71 СТРАНИЦА НОВЫХ СЛОВ

ЯЗЫК ПРЕССЫ

- 74 *Н. И. Орлова.* Мирная жизнь десанта

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

- 77 Григорий Андреевич Ильинский (1876–1937)

СЛОВО — МОЛОДОМУ ЛИНГВИСТУ

- 82 *Е. Д. Золотарева.* Душа у В. В. Маяковского

- 88 *Н. Д. Дизенко.* Листья – дождем, слезы – ручьем
 92 *А. С. Дерябина.* Торцовый и торцевой
 95 *М. И. Кадеева.* Свитер, джемпер, пуловер – «сыновья» фуфайки
-
- СРЕДИ КНИГ**
- 99 *М. В. Горбаневский.* Имена земли Московской
-
- ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ**
- 101 *В. Г. Сиромaha.* Книжная справка Московской Руси
 106 *С. С. Воинов.* Кто ты, Ярославна?
 110 *М. М. Эркенов.* Овлур, Влур, Лавр
-
- РУССКИЕ ГОВОРЫ**
- 112 *Л. М. Райская.* Народная речь Среднего Приобья
-
- ЯЗЫК И ОБРАЗЫ ФОЛЬКЛОРА**
- 119 *В. Н. Вакуров.* Кто вино любит, тот сам себя губит
-
- НА КАРТЕ РОДИНЫ**
- 123 *И. Г. Добродомов.* Оскол
-
- ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ**
- 128 *А. Н. Шустов.* От бака к дредноуту
 132 *И. Э. Лалаянц.* Кока-кола, пепси-кола
 135 *В. М. Мокиенко.* С бзиком
 142 *С. И. Алагорцева.* Ремонтер
-
- ЗА ЗНАКОМОЙ СТРОКОЙ**
- 144 *К. А. Чекалов.* Цикада, стрекоза или кузнечик?
 150 *А. Я. Опришко.* Зеленый шум
-
- 156 **КРОССВОРД**
-
- 158 **СТРАНИЦА НОВЫХ СЛОВ**

На обложке рисунок Б. Захарова

В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ НАРОДОВ И ЯЗЫКОВ

И. Ф. ПРОТЧЕНКО,
академик АПН СССР

За годы Советской власти наша страна прошла большой и славный путь, добилась выдающихся успехов в развитии экономики, науки и культуры. В дружной семье советских народов происходит дальнейший расцвет и сближение социалистических наций и народностей, успешно решен национальный вопрос.

В новой редакции Программы Коммунистической партии Советского Союза, принятой XXVII съездом КПСС, сказано: «В своей деятельности КПСС всесторонне учитывает многонациональный состав советского общества. Итоги пройденного пути убедительно свидетельствуют: **национальный вопрос, оставшийся от прошлого, в Советском Союзе успешно решен.** Для национальных отношений в нашей стране характерны как дальнейший расцвет наций и народностей, так и их неуклонное сближение, которое происходит на основе добровольности, равенства, братского сотрудничества».

В многонациональной Стране Советов насчитывается около 130 языков наций и народностей, которые развиваются в условиях равноправия и взаимообогащения, составляющих незыблемый принцип национальной политики Коммунистической партии. Только Советская власть дала возможность ранее отсталым народам, заселявшим окраины царской России, впервые за всю историю создать письменность на родном языке, что справедливо расценивается как беспримерный подвиг в культурном строительстве.

Большие и трудные задачи в проведении мероприятий по языковому строительству и в целом при осуществлении культурной революции были решены в короткий срок благодаря тому, что в 20—30-е годы была оказана помощь ученым национальных районов в разработке алфавитов, в подготовке учебников, национальных кадров, в ликвида-

ции неграмотности и малограмотности, а затем в совершенствовании всей системы просвещения.

Не может быть никакого сомнения в том, что в одиночку ни одна бывшая национальная окраина России не могла бы справиться с решением столь грандиозных задач подъема просвещения и культуры. Большая и планомерная научно-исследовательская и организаторская работа, проведенная совместно русскими учеными и учеными соответствующих национальных районов, оказалась весьма плодотворной и привела к большим достижениям. В этих условиях оказалось возможным наладить широкую подготовку национальных кадров для предприятий народного хозяйства, местных государственных органов, учреждений культуры и т. д. Массовыми тиражами стала издаваться учебная, научно-техническая литература. На национальных языках развиваются художественная литература и театральное искусство, выходят газеты и журналы, действует широкая сеть клубов, домов культуры и других культурно-просветительных учреждений. Этап за этапом осуществляется подъем народного образования: уже в 1930/31 учебном году вводится всеобщее начальное образование, в послевоенные годы — восьмилетнее, в годы X пятилетки завершается всеобщее среднее образование.

В настоящее время поставлена и решается задача дальнейшего улучшения всей системы народного образования в стране.

Крупным событием и важной вехой на пути совершенствования обучения и воспитания подрастающего поколения, его всесторонней подготовки к жизни и труду является реформа общеобразовательной и профессиональной школы, основные направления которой творчески развивают ленинские идеи о единой трудовой политехнической школе. Претворение реформы в жизнь вызвало необходимость пересмотреть Основы законодательства о народном образовании и внести в них соответствующие изменения.

Важно подчеркнуть, что в Основах законодательства о народном образовании воплощаются принципы ленинской национальной политики. В статье 20-й закреплено право учащихся обучаться на родном языке или языке другого народа СССР. Здесь сказано: «В учебных заведениях, где преподавание ведется не на русском языке, для изучения, наряду с родным, русского языка, добровольно принятого советскими людьми в качестве средства межнационально-

го общения, создаются необходимые условия, обеспечивающие свободное владение этими языками, единый уровень общеобразовательной подготовки с учетом национальных особенностей населения союзных республик».

СССР — первая в мире многонациональная страна, провозгласившая отсутствие обязательного государственного языка. Коммунистическая партия устами В. И. Ленина твердо заявила и строго соблюдает принцип: «Ни одной привилегии ни для одной нации, ни для одного языка! Ни малейшего притеснения, ни малейшей несправедливости к национальному меньшинству!» (Ленин В. И. ПСС, т. 23, с. 150).

Последовательное осуществление ленинских идей в национально-языковых отношениях обеспечило расширение общественных функций национальных языков одновременно и в тесном взаимодействии с развитием общественных функций русского языка — средства общения и сотрудничества многомиллионного и многонационального советского народа.

Потребность в языке межнационального общения в нашей стране продиктована рядом обстоятельств. Важнейшие из них следующие. Подъем всех сторон жизни национальных республик, решение задач экономического и культурного строительства требуют повседневно, высокоэффективного сотрудничества разноязычных народов. В условиях единой системы государственного планирования отсутствие тесной и постоянной связи между республиками оказалось бы серьезным тормозом на путях к поставленным целям в социально-экономической, политической и культурной жизни всех союзных республик. Трудно представить себе и такое положение, когда бы в центральных учреждениях, министерствах и ведомствах потребовалось вести делопроизводство и переписку на всех многочисленных языках народов нашей страны.

Совершенно очевидно, что без общепонятного языка трудно обойтись при проведении общесоюзных съездов, конференций, совещаний и других мероприятий.

В. И. Ленин убедительно обосновал закономерность выдвижения русского языка на роль средства межнационального общения народов СССР, отметив следующие факторы: потребности экономического оборота в условиях многонационального государства, знание и приемлемость этого языка для большинства населения страны; доброволь-

ность принятия его людьми самых различных наций в качестве языка межнационального общения; последовательный демократизм.

Русский язык был средством общения народов и в до-революционной России. Передовые национальные общественные деятели, несмотря на реакционную политику царизма, призывали своих земляков изучать и распространять русский язык, ибо глубоко понимали жизненную потребность в знании этого языка, высоко ценили его роль в подъеме культуры отсталых народов. Однако до революции эта тяга к изучению русского языка тормозилась реакционной национальной политикой самодержавия.

Выбор русского языка на роль универсального средства общения сделан народами СССР добровольно, а являясь таковым, русский язык в политическом и правовом отношении находится в равноправном положении со всеми другими языками. В Советской стране исключена всякая возможность «соперничества» языков, ибо у нас созданы все условия для их свободного и беспрепятственного развития, расширения их общественных функций. Ни один из языков не получает какой-либо привилегии из-за большей или меньшей численности говорящих на нем, относительного богатства или бедности словарного фонда и т. п. В то же время в условиях полного равноправия, торжества идей дружбы, растущего доверия народов друг к другу, укрепляющегося чувства единой семьи народов, расширились и масштабы использования языка межнационального общения, усилилась тяга к его изучению, активизировалось взаимодействие русского с другими языками нашей страны — это процесс двуединый, так как имеет место влияние и русского на национальные языки, и обратное их воздействие на русский язык. Особенно отчетливо это проявляется в словарном составе. Во всех языках народов СССР есть заимствования из русского, в свою очередь и в русский язык поступает много слов из языков народов СССР.

Данные переписей населения показывают неуклонный рост числа жителей нерусской национальности, которые называют русский язык вторым родным. Трудящиеся национальных районов проявляют стремление к двуязычию, при котором в роли второго языка выступает именно русский. Этот тип двуязычия — ведущий в нашей стране, а сам данный процесс — весьма положительный и перс-

пективный. Развитие двуязычия у нерусского населения Советского Союза, так же как и у русских, проживающих в национальных районах, имеет важное социально-культурное значение. Оно помогает сотрудничеству, сближению и взаимопомощи народов в общественно-политической, экономической, культурной и научной жизни; способствует широкому распространению культурного обмена между народами; может свести к минимуму языковые барьеры в общении людей разных национальностей, способствует широкому распространению языка межнационального общения; дает выход к международному сотрудничеству, поскольку русский является одним из международных языков. Таковы отличительные черты языковой жизни в нашей стране.

Вполне правомерно говорить и о взаимодействии, взаимовлиянии литератур народов СССР. Это понятно, ибо язык — это плоть художественного произведения, по меткому выражению Горького, — «первоэлемент литературы». В единой семье советских народов русский язык является «всесоюзным переводчиком» и служит средством приобщения людей к богатствам многонациональной советской, русской и мировой культуры. Хорошо выразил эту мысль узбекский поэт Сабир Абдулла:

Служил он каждому,
поведав
итоги знания и азы,
язык ученых и поэтов,
могучий ленинский язык.

В пути ли вы, в краю ли отчем —
все дали с ним педалеки.
Он проводник —
и переводчик
на все земные языки.

(Цитируется по публикации в журнале «Дружба народов», М., 1981, № 2).

Союз писателей СССР насчитывает в своих рядах более 8 тысяч литераторов, пишущих на 78 языках нашей страны. Переведенные на русский язык произведения национальных писателей обретают всесоюзную и мировую известность.

О характере взаимодействия русской и национальных литератур образно и убедительно сказал поэт Р. Рождественский: «Что же касается взаимного влияния наших национальных литератур, то оно, конечно, существовало, существует и будет существовать... И если уж говорить о влиянии, то, на наш взгляд, сегодня более характерна не „русификация“ национальных писателей, а, если можно так

выразиться, „гамзатизация“ молодой русской поэзии и „айтматизация“ молодой (да и не только молодой) русской прозы. Это тоже факт советской литературы» (Р. Рождественский. В неоплатном долгу.— В кн.: Высокое призвание. М., 1975, с. 166). При этом художественная литература тоже (хотя и своеобразно, но довольно сильно) содействует развитию национально-русского двуязычия.

Как видим, в Советском Союзе гармонично развиваются и растут общественные функции национальных языков и русского языка как средства межнационального общения в их взаимодействии и взаимовлиянии.

Постоянное внимание Коммунистической партии к интересам и запросам всех наций и народностей нашей страны, последовательное претворение в жизнь ленинских принципов в национально-языковых вопросах обеспечивает в Стране Советов нерушимую дружбу народов и языков. «Партия исходит из того,— говорится в новой редакции Программы КПСС,— что последовательное проведение ленинской национальной политики, всемерное укрепление дружбы народов — составная часть совершенствования социализма, проверенный общественной практикой путь к дальнейшему процветанию нашей многонациональной социалистической Родины».

«Пишет домой война»

О ПИСЬМАХ ВОЕННЫХ ЛЕТ

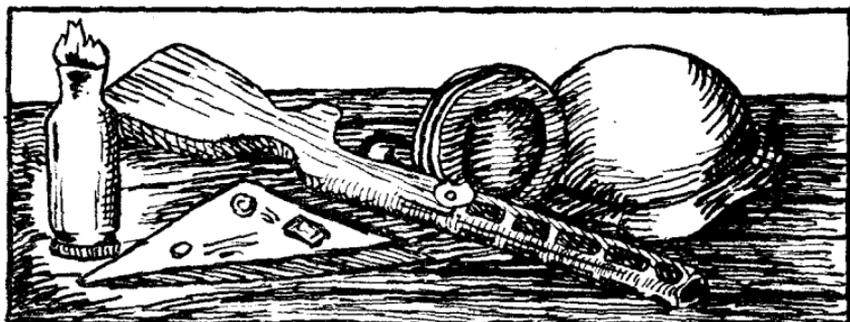
Л. А. ГЛИНКИНА,
кандидат филологических наук

Миллионы людей в годы Великой Отечественной войны оказались оторванными от родного крова и привычной жизни. Война всколыхнула всю страну, и миллионы духовных ниточек протянулись между фронтом и тылом.

От столов и до подоковников
Почта вечно полным-полна,
Из квадратов и треугольников
Заливает ее волна.
Под неслышимый здесь грохот пушек,
Торопясь, с утра до темна
Сортируют трое девчушек
То, что пишет домой война.

Штатом почты не предусмотрено
То, что целый народ в разлуке,
То, что как умирать ни больно,
Но, идя в атаку, чтоб жить,
Любям хочется в треугольник
Перед этим душу вложить.

Симонов. Иван да Марья



О полевой почте, фронтовых письмах и желанной весточке из родного дома пели песни: «И подруга далекая Парню весточку шлет, Что любовь ее девичья Никогда не умрет» (Огонек), «Пришло письмо летучее В заснеженную даль...» (На солнечной поляночке), поэты слагали стихи, художники писали картины... Как ждали эти письма в тылу и на фронте! «Пиши, мама, чаще обо всем, что можешь. Не жалея бумаги», — просит с фронта Леня Горецкий (Юность, 1975, № 4); «Очень радостно получать ваши письма. Последние (от бабуся, Веры и Валюши) я получила как раз перед боем (4 марта) и прочла их в лесу, под звуки выстрелов нашей артиллерии и разрыва мин. Так тепло и радостно стало на душе! Ведь подумать только, что в такой момент, на таком большом расстоянии от вас получила кусочек домашнего тепла, искорку вашей любви, нежности, ласки. А это во время военных действий самый дефицитный и дорогой товар», — пишет отважный снайпер, Герой Советского Союза Наташа Ковшова (сб. Верю в нашу победу... Письма с фронта. Челябинск, 1976).

Эту общую заботу и тоску по письмам выразил в стихотворении «Вместо письма» В. Лебедев-Кумач:

Поверь мне, родная, — тебе аккуратно
Длиннущие письма пишу я... во сне,
И кажется мне, что сейчас же обратно
Ответы, как птицы, несутся ко мне.

Письма простых людей в трудную для Родины минуту... Где только и как только они ни писались! В блиндажах и землянках во время коротких передышек, «на привале при огне Где-нибудь в лесу писали Друг у друга на епине...» (Твардовский. Василий Теркин). «Почтовый герой» повести Даниила Гранина «Еще заметен след» вспоминал, что одно письмо он написал под минометным обстрелом: «Мы лежали в палатке — хорошо прикрытие! — и ждали, попадет или нет. Бежать укрываться было некуда. Трое моих бойцов нервно курили самокрутку за самокруткой, а я писал Вам. И тоже ждал: пронесет — не пронесет? И не переставал писать, из суеверия ни словом не упоминая про мины».

В Волгограде, на Солдатском поле есть памятник потрясающей силы: стоит на просторе с цветком в руке девочка, а рядом на мемориальной плите высечены слова неотправ-

лепного фронтового письма майора Петракова дочери Миле. Письмо было найдено на этом песчаном месте после ожесточенных боев под Сталинградом: «Моя черноглазая Мила! Идет тяжелый бой. Мы у Сталинграда. Взрывом снаряда срезан цветок. Я хочу, чтобы твоя жизнь не оказалась срезанной...»

Письма военных лет — уникальный человеческий материал по истории Великой Отечественной войны и истории духовной культуры. По словам А. Н. Толстого, это — «голос героической души народа».

В книге «Говорят погибшие герои» (М., 1982) собраны предсмертные письма, записки, настенные надписи в камерах гестапо, дневники (1941—1945). Они обжигают душу своей простотой, нравственным величием и мудростью. Написаны спокойно и деловито, если даже писали их в последний час... Вот короткое письмо артиллериста-разведчика А. Полуэктова, адресованное другу в октябре 1941 года: «Дорогой Саша! Если я умру, напиши моим старикам, что я умер легко и спокойно. Я ненавижу фашизм, ненавижу кровавую, грабящую и убивающую фашистскую нечисть. И если бы у меня была и вторая жизнь, я бы отдал и ее. Напиши им, что я счастлив, что был бойцом в этой великой битве. Прощайте, не забывай меня».

В принятых обыденных рамках «здравствуйте, родные; привет, мои дорогие; прощайте» — забота о ближних, ласка к родным, гордость за свой народ, высокий долг и человеческая красота. «Мои дорогие Шура и детишки! Я буду счастлив, если вам удастся услышать в этих строках слова страсти и любви и, может быть, последнее „прощай“»; «Шура., я прошу тебя сказать всем, что это не конец. Я умру, но вы останетесь жить»; «Простите и прощайте и будьте счастливы», — писал в последних письмах член подпольной комсомольской организации города Донецка С. Г. Матекин.

И каждое из этих писем — живая трагическая судьба, живой трепетный голос мужественного человека. Вот письмо-завещание Л. А. Силина, которое он послал жене и сыновьям с фронта (о его подвиге в тылу врага написал С. С. Смирнов в рассказе «Госпиталь в Еремеевке»): «Я иду на войну, то есть на смерть, во имя вашей жизни. Это совсем не прекрасные слова. Для меня сейчас это слова, облеченные в плоть и кровь, в мою кровь. Аннушка, родная! Знаю, что тебе будет тяжелее всех. Знаю. Но за то, чтобы

ты была в безопасности, я иду в огонь... Мне нечего больше к этому прибавить».

И то, что воспринималось бы, может быть, в других условиях как высокая патетика, здесь звучит уместно и точно: «... какие у меня хорошие бойцы, командиры — это истинные патриоты, бьются, как львы, в сердце каждого одно — не допускать врага к родной столице, беспощадно уничтожать гадов. Смерть фашизму!» — сообщал жене генерал-майор И. В. Панфилов 13 ноября 1941 года.

Воспитанник Челябинского комсомола политрук Владимир Колсанов писал жене 11 сентября 1942 года: «Вот я и на войне. Родину защищать с оружием в руках — это самое важное и почетное дело для патриота».

Фронтовые письма, весточки военных лет, людей разных воинских званий, возраста, жизненного опыта и образования — близки по духу и стилю. Несомненно, язык массовых писем этих лет испытал огромное влияние нашей печати. Из военной публицистики того времени пришли в частные письма слова и обороты, которые были общенародными лозунгами и стали внутренним кредо каждого советского человека. «Враг будет разбит, победа будет за нами», «Защищать Родину до последнего дыхания», «Биться с ненавистным врагом и мстить проклятым фашистам до последней капли крови», «Участвовать в большом благородном деле» — в этих строчках высокое чувство Родины и святая ненависть к врагу.

Особое значение имели регулярно печатавшиеся сначала во фронтовых газетах, а затем перепечатанные «Правдой», публицистические «Письма товарищу» Б. Горбатова. Это были размышления о нравственности и долге, о месте человека в жизни, о любви к Родине. Среди смерти и горя главное в личном настолько совпадало у миллионов людей, что чужое сокровенное письмо могло получить всенародное признание и любовь. Так случилось с личным письмом в стихах «Жди меня» Симонова. Оно было написано на Крайнем Севере, на отрезанном от всего остального фронта Рыбачьем полуострове. Писатель вспоминал позднее: «...читая эти стихи в землянках и блиндажах, я начал постепенно понимать, что они связаны не только с моей собственной, а и с судьбой многих других людей, гораздо в большей степени, чем это мне казалось сначала».

Газетные подшивки военных лет сохранили многочисленные письма с фронта, из партизанских отрядов, а так-

же письма солдатских детей и матерей на фронт. Война стала своеобразным «почтовым ликбезом» для тех, кто не умел писать писем. Во фронтовых треугольниках посылали самые нежные боевые приветы, описывали полевой быт, а иногда и военные эпизоды. В обыденную речь стремительно ворвалась и была мгновенно освоена новая, военная терминология и «свежее» просторечье: *военком, блиндаж, контузия, медсанбат, боевое крещение, салютировать, бомбить, интендантский обоз, необстрелянный, дивизион, батальон, взвод, зенитка, старлей* (старший лейтенант) и т. д. Эта лексика становилась обычной и в личных фронтовых письмах. Скупые, отрывистые строки о себе, о своем состоянии, вера в победу... «Жива, здорова, передаю всем боевой привет. Пока у меня есть время, буду давать знать о себе... Вот просвистела пуля..., снайпер не дает писать... Мне очень приятно, что я являюсь защитником Севастополя. Вот скоро покончим с ненавистным врагом, тогда я буду дома», — пишет за несколько минут до гибели санинструктор Женя Дерюгина (Здоровье, 1984, № 11).

И к письмам на фронт предъявлялись высокие моральные критерии. Литература и газета учили искать и находить для фронтовика дорогое, самое нужное слово:

И не даром нету, друг,
Письмеца дороже,
Что из тех далеких рук,
Дорогих усталых рук
В трещинках по коже.

И не зря зываю я
К женам настоящим:
— Жены, милые друзья,
Вы пишите чаще.

Не ленитесь к письмецу
Приписать, что надо.
Генералу ли, бойцу,
Это — как награда.

Твардовский. *Василий Теркин*

Бойцы, связанные нерушимым фронтовым братством, читали друг другу письма из дома. Вспомним комические переживания Звягинцева, героя романа М. Шолохова «Они сражались за Родину», о которых он рассказывает другу Николаю Стрельцову: «Скажу тебе откровенно и по секрету: никак переписку со своей Настасьей Филипповной не налажу. Не выходит, да и все, хоть слезами плачь!.. По-

лучил от нее раз за разом три письма, и каждое письмо начинается так: „Дорогой мой цыпа!“ Прочитаю — и уши у меня огнем горят. Откуда она это куриное слово выковыряла — ума не приложу...»

Воспитанию ответственности за каждое слово в корреспонденциях на фронт послужило «Открытое письмо» К. Симонова женщине из г. Вичуга. Написанное на Брянском фронте по поручению офицеров полка уже после смерти их товарища, оно осуждало женщину не столько за измену мужу («Не все способны век любить»), сколько за то, что она не нашла «пусть горьких слов, но благородных», «за пошлый тон» и «нагую грубость» слов.

Но как могли вы, не пойму,
Стать, не страшась, причиной смерти,
Так равнодушно вдруг чуму
На фронт отправить нам в конверте?

Нам предстоит еще не раз внимательно прочитать эти бесценные строки военных лет, глубоко осмыслить и изучить их язык и стиль, определить роль и место в истории русской эпистолярной культуры. Но некоторые новые особенности частной почты тех лет и сейчас кажутся совершенно очевидными. Суровое время соединило в них разговорность, экспрессию, торжественную публицистику и военную терминологию. И это стало уже достоянием не единиц или сотен, а миллионов советских людей. О высоком значении писем военных лет для будущих поколений хорошо написал в стихотворении «Эти письма» К. Ваншенкин:

Эти письма, что в ливень и вьюгу,
Перед самой войной и в войну,
Вы, страдая, писали друг другу,
Нынче сложены в папку одну...

Эти письма пронзали до дрожи.

Средь иного, что есть на примете,
Средь бумаг, накопившихся тут,
Сохраните свидетельства эти,
Не сочтите, потомки, за труд.

Челябинск

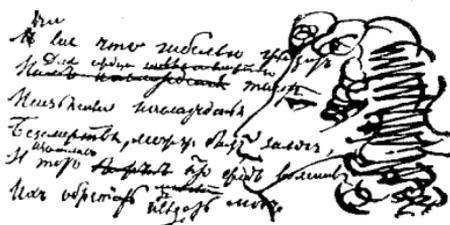
Рисунок Ю. Панипартовой

Из записок филолога



В. Э. ВАЦУРО,

кандидат филологических наук



За годы филологической работы, связанной с перечитыванием и толкованием текстов, каждый специалист, историк литературы или языка, накапливает десятки, а то и сотни наблюдений; они уходят в примечания,

в книги и статьи, составляя своего рода их строительный материал. Но они могут быть небезынтересны и сами по себе, если открывают читателю путь за кулисы, в глубины творческой лаборатории писателя или высвечивают ему поучительные эпизоды творческой истории, казалось бы, хорошо знакомых текстов. Такие миниатюры, «мелкие заметки» иногда живут дольше больших статей; так, по сие время пушкинисты помнят вышедшие пятьдесят лет назад «Пушкинологические этюды» Н. О. Лернера, серию маленьких рассказов о неясных местах в произведениях Пушкина. Этот жанр «заметок на полях» любил выдающийся советский филолог академик М. П. Алексеев и пользовался им мастерски, а А. А. Ахматова предполагала написать целую книгу такого рода миниатюр, и среди оставшихся после ее кончины маргиналий — уже не метафорических, а настоящих, на полях пушкинского одноместника, — есть такие, которые заключают в себе подлинные открытия в области пушкинской поэтики.

Данные заметки — это не открытия в том высоком смысле, в каком слово это может быть применено, скажем, к заметкам Ахматовой; это плод повседневного труда, комментарии к разным текстам разных авторов, — и одна из задач их — помочь любителям поэзии в понимании подлинного смысла литературы прошлого. Читать можно по-разному. Любой носитель русского языка понимает смысл русского текста, созданного в девятнадцатом и даже в восемнадцатом веке; но понимание это порой неполно и неточно, а иногда совершенно превратно, о чем непосвященный

читатель даже не догадывается. Всем известно знаменитое стихотворение Жуковского «Певец во стане русских воинов», и все знают, что в 1812 году регулярная армия не была вооружена луками и стрелами,— но, чтобы объяснить, почему в тексте Жуковского фигурируют только «мечи», «щиты», «копья», «стрелы»,— нужно представлять себе условность поэтического языка 1810-х годов. Читатель, который в строках «Орлом шумишь по облакам, По полю волком рыщешь» не уловит отсылки к «Слову о полку Игореве», не поймет поэтической мысли целой строфы о Платове,— ибо она предполагает в читателе знание древнего памятника. И так далее...

Если, пробежав эти этюды, читатель их почувствует вкус к углубленному чтению и убедится в том, что это отнюдь не бесплодное занятие,—они выполнят одну из важных своих задач.

«Площадной шут» в пушкинской эпиграмме

В истории журнальных взаимоотношений Пушкина известен следующий эпизод.

В первых книжках «Московского телеграфа», который с 1825 года стал издавать известный в русской литературе Николай Алексеевич Полевой, было помещено стихотворение Пушкина «Прятелям»:

Враги мои! покамест я ни слова...
И, кажется, мой быстрый гнев угас;
Но из виду не выпускаю вас
И выберу когда-нибудь любого:
Не избежит пронзительных когтей,
Как налечу нежданный, беспощадный.
Так в облаках кружится ястреб жадный
И сторожит индеек и гусей.

Пушкин не обозначил точнее, кому именно он адресует свою поэтическую угрозу, и эта неопределенность, конечно же, была намеренной. К врагам-приятелям он мог причислить многих, от кого терпел большие и малые обиды еще до ссылки и во время нее: и Федора Толстого — «Американца», и, вероятно, каких-то других завсегдатаев театрального кружка Шаховского, и Александра Раевского, и Воронцова, и Северяна... Под стихами он поставил подпись: «А. П.».

П. А. Вяземский, один из тех подлинных приятелей Пушкина, кто мог не опасаться его эпиграмм, был в это время посредником между михайловским затворником и московским журналом. Название «Прятелям» не удовлетворило его своей двусмысленностью,

и он его заменил, поставив: «Журнальным приятелям». Так эти стихи и появились в «Московском телеграфе». Пушкин напечатал возражение, восставовив прежнее заглавие; Полевой отбечал объяснением, снимая с себя вину и ссылаясь на список, ему доставленный. Вяземский и Пушкин объяснились в письмах.

Между тем эпиграмма с новым названием распространялась, и некоторые журналисты были задеты. «Московский телеграф» вел обширную полемику и должен был ожидать критических реплик.

Укол последовал со стороны петербургского журнала «Благонамеренный».

Его издатель, баснописец, прозаик, критик А. Е. Измайлов весьма скептически относился к новым, романтическим веяниям и к самим «молодым романтикам», в особенности из пушкинского окружения. Уже несколько лет он печатал на страницах своего журнала эпиграммы, сатирические анекдоты и критики против Дельвига, Баратынского, Плетнева, Кюхельбекера; к самому Пушкину он, впрочем, относился вполне благожелательно и никогда его не задевал. Критицизм его распространялся и на журнал Полевого, уже ясно обнаружившего свою приверженность к лагерю «новаторов».

Он посмеялся над пушкинскими стихами в «Телеграфе» в статье «Дело от безделья, или Краткие замечания на современные журналы» (Благонамеренный, 1825, № 19): «Из самого начала сего ужасного осмысления открывается, что для сочинителя *приятель* и *враг* суть синонимы... Страшно, очень страшно! Более же всего напугало меня то, что у господина сочинителя есть когти!»

Измайлов намекал на длинные ногти Пушкина — бросающуюся в глаза черту его внешнего облика. Это было забавно, — но, конечно, было «личностью».

Тогда Пушкин послал Полевому новую эпиграмму, — уже на Измайлова:

Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал их без подписи моей;
Журнальный шут о ней статейку тиснул,
Без подписи ж пустив ее, злодей.
Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям узнал меня в минуту,
Я по ушам узнал его как раз.

Эпиграмма называлась «Ex ungue leonem» — «по когтям узнают льва»,

Обо всем этом вспоминал потом в своих мемуарах Ксенофонт Полевой, объясняя читателям нового поколения, что сатирическая резкость Пушкина относилась к вульгарному тону и «неблагоуханным» «шуточкам» «Благонамеренного». Но он не уловил одного очень важного оттенка, который содержался в определении «журнальный шут», — оттенка, не понятного широкой публике и даже причастным к этому делу журналистам, но очень понятного адресату эпиграммы.

Чтобы оценить его по достоинству, нужно было заглянуть за кулисы петербургской литературной борьбы двухлетней давности, когда в ответ на нападки Измайлова Баратынский написал сатирическое послание «К Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры». Эти стихи Дельвиг отправил в рукописи Пушкину в Одессу. Сатира Пушкину не понравилась, но «прекрасные» (по его выражению) стихи ее он запомнил.

В этой сатире были строчки:

(...) Болтун еженедельный,
Ты сделал свой журнал Парнасской богадельной,
И в нем ты каждого убогого умом
С любовью жалуешь услужливым листком.

Измайлов, например, знакомец давний мой,
В журнале плоский враль, ругатель площадной,
Совсем печатному домашний не подобен,
Он милый хлебосол, он к дружеству способен...

Баратынский менял текст своего послания. То, что мы сейчас цитируем, — по-видимому, та самая редакция, которую Пушкин прочитал впервые в 1823 году (См.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома. 1972. Л., 1974, с. 58—59).

В сборнике стихотворений Баратынского, вышедшем в 1827 году, имя Измайлова было заменено условно-сатирической фамилией «Шутилов», а строка о «плоском врале» читалась:

В журнале пошлый шут, ругатель площадной...

Если Пушкин к 1825 году знал эту редакцию, то нет сомнения, что он перефразировал ее в своей эпиграмме.

Если же она была создана позже, то дело обстояло как раз наоборот: Баратынский исправил строку по пушкинской эпиграмме.

Но так или иначе Пушкин отсылал понимающего читателя к старой сатире на Измайлова и его сотрудников, ходившей в списках, наводя его на имя анонимного автора, — и, с другой стороны, как бы солидаризировался с кружком своих друзей в их

недавней полемике с Измайловым. И сам адресат его эпиграммы, без сомнения, должен был понять этот ее второй план, ибо сатира Баратынского отнюдь не была секретом, и ее знали в измайловском кружке.

Все эти полемики двухлетней давности должны были ожить перед Пушкиным как раз к лету 1825 года, — незадолго до того в Михайловском побывал Дельвиг и, нужно думать, ввел его в курс литературной жизни, от которой он был физически оторван в течение пяти лет. Но здесь мы можем только строить предположения.

В нашем распоряжении есть только определение *площадной*, восходящее к сатире Баратынского, да, может быть, еще словечко *шут*, сохраняющие слабый след литературных боев, столь знакомых пушкинским современникам.

Заметка к тексту Баратынского

Среди ранних стихов Баратынского есть послание, которое печатается под названием «К — ву». Адресат его — известный в свое время поэт Александр Абрамович Крылов, элегик, одно время приятель Баратынского, Кюхельбекера и Дельвига.

Об их взаимоотношениях в 1819—1820 годах мы знаем не так уж много. Известно, однако, что обмен дружескими посланиями между ними был обычен. Дельвиг также написал послание Крылову, — а среди стихов Крылова известно послание к Кюхельбекеру.

В стихах Баратынского «К — ву» обрисовывался портрет молодого поэта, полного жизненных сил и стремления к земным радостям:

Любви веселый проповедник,
Всегда любезный говорун,
Глубокомысленный шалун,
Назона правнук и наследник...

Этот облик, вероятно, стилизован в духе гораццианской и анакреонтической лирики. Современники вспоминали о меланхолии, отличавшей характер Крылова. Впрочем, может быть, изменился сам характер: к концу своей короткой жизни Крылов был поражен тяжелой болезнью и незадолго до смерти ослеп.

Как бы то ни было, в стихах 1819 или начала 1820 года Баратынский призывает своего приятеля ловить мгновения любви и веселья, не задумываясь ни о грядущей их измене, ни о грозящей всем неизбежной смерти:

Летающий миг лови украдкой,—
И Гея, Вакх еще с тобой!
Еще полна, друг милый мой,
Пред нами чаша жизни сладкой...

Перед этими строчками нам следует остановиться, потому что они непонятны.

То, что Вакх появляется в гедонистическом послании,— естественно, традиционно и не требует никаких пояснений. Мифологическими уподоблениями наполнено все стихотворение:

Часы летят! — Скорей зови
Богиню милую любви!
Скорее ветреного Мома!

Богиня любви — Венера — Афродита, Мом — бог насмешки, иронии. Весь этот набор имен обычен в посланиях подобного рода.

Из него решительно выпадает Гея.

«Гея — мать всего земного; в то же время владычица смерти (греч. миф.)», — читаем в комментариях и словарных справках к этому стихотворению. «Гея — богиня земли, прародительница людей».

«Общее божество», Гея, Тития, богиня земли, сунруга Урана или Неба, мать титанов и циклопов, — вот то, что можно извлечь из «Ручной книги древней классической словесности» Эшенбурга и Крамера, переведенной и дополненной Н. Ф. Кошанским, — по которой учились поколения студентов и, в частности, лицеисты. — «... *Цибелу* принимали за *Гею*, или самую Землю (*Fellus*). В сем отношении называли ее *Вестою* или *великою матерью богов*. Следовательно, ее происхождение относится к отдаленнейшим векам баснословия, а тем самым изъясняется и запутанность в ее истории» (т. II, СПб., 1817, с. 21).

Гея, прародительница богов, древнейшее понятие греческой космогонии — в ряду с Вакхом, в роли покровительницы «веселого проповедника любви»... Это вряд ли можно истолковать удовлетворительно. Образ этот не встречается в гедонистических стихах пушкинского окружения; нет его и у Пушкина. И самая синтаксическая структура строки Баратынского не вполне ясна: что значит в ней присоединительный союз:

Летающий миг лови украдкой,—
И Гея, Вакх еще с тобой...

Здесь позволительно заподозрить какую-то ошибку в тексте. Было бы легко проверить наше предположение, если бы суще-

ствовал автограф стихотворения. Но его нет, и послание Крылову не входило ни в один прижизненный сборник Баратынского. Оно было напечатано единственный раз в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» в третьей (мартовской) книжке за 1820 год, — и напечатано именно так, как мы его процитировали. Совершенно естественно, что все последующие издания Баратынского — и научные, и массовые — воспроизводили этот текст.

Между тем у нас есть все основания думать, что сам автор увидел свое стихотворение только в печатной книжке и корректуры ее не держал.

Стихи, о которых идет речь, стали известны издателям журнала 19 января 1820 года, когда они были прочитаны на заседании петербургского Вольного общества любителей российской словесности, которое и издавало журнал «Соревнователь». Самого Баратынского на чтении не было; он нес службу в Финляндии, и стихи представил Дельвиг. Их было предложено «исправить», после чего они были отданы в журнал для напечатания. Все это проходило, по-видимому, в отсутствие Баратынского: в 1820 году он в первый раз появился в обществе только 19 апреля (Базанов В. Г. Ученая республика. М.—Л., 1964, с. 371, 377). Он уже не мог исправить текст, который настоятельно требовал исправления.

В нем, конечно, упоминалась не Гея.

В нем упоминалась Игея (Гигея), богиня здоровья, дочь Эскулапа, которого «назвали сыном Аполлона и нимфы Коронис, богом врачевания», как сообщал Кошанский. Это имя постоянно встречалось в гедонистических стихах и более всего у Дельвига, поэтического наставника Баратынского в начале его творческого пути. В лицейском послании Дельвига больному князю Горчакову (К. К. Г., 1815) читаем:

Здравия полный фвал Игея сокрыла в тумане...

В 1823 году он описывал свою болезнь в послании «К Софии», адресованном С. Д. Пономаревой:

И в вашем образе пришла
Ко мне порою усыпленья
Игея с чашей исцеленья...

Но еще более показателен лицейский «Дифирамб» Дельвига, где речь идет не о выздоровлении, а о здоровье, — совершенно так же, как в послании Баратынского. Здесь мы находим ту же

пару мифологических имен — Игея — Вакх (Лиэй), которую, без сомнения, ввел в свои стихи Баратынский:

При плесканьи полных чаш
Верьте мне, Игея с нами,
Сам Лиэй целитель наш!

Итак, строка Баратынского должна читаться:

Игея, Вакх еще с тобой,—

и только такое чтение возвращает ей первоначальный смысл. «И Гея» — журнальная опечатка, и мы легко представим себе, как она возникла, если взглянем на ранние беловые автографы Баратынского: в них нет или почти нет межбуквенных связей, каждая буква отделена от соседней интервалом, а прописное и строчное «г» пишется почти одинаково. Вероятно, прописное «И» в слове «Игея», начинавшем строку, отделилось от соседнего «г» несколько большим интервалом, и наборщик принял его за союз. Дальнейшее понятно: появилась внешне осмысленная, а по существу лишенная смысла строка, которая прошла затем через все издания Баратынского.

Она родилась так же, как родился тыняновский «подпоручик Кнже».

У нас есть все основания исправить ее путем редакторской конъектуры.

Ленинград

Рисунок Б. Захарова

Адмиралтейская игла



Р. Д. ТИМЕНЧИК,

кандидат филологических наук

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых почей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И не пуская тьму почную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

А. С. Пушкин. *Медный всадник*

Судьба поэтического произведения в потомстве — это не только эволюция его общей концепции в читательском восприятии. Это и судьба самых малых, самых дробных частей его вплоть до отдельной строчки. В эпохи цветения стиховой культуры возрастает ощущение известной самоценности одного, «вырванного» стиха. Он может осмысляться как законченный микротекст. Так было в пушкинскую эпоху. И так стал восприниматься стих в эпоху символизма — показательно, что Брюсов сделал *моностих* (нашумевшее «О закрой свои бледные ноги») одним из пунктов полуэпатажной символистской программы. Постсимволисты полюбили «отдельный блуждающий стих» и возродили классицистскую традицию «похищений» — переноса чужих поэтических строк в свои произведения. В эту эпоху пушкинский «Медный всадник» почти весь разошелся на поэтические цитаты. Больше всех, пожалуй, в этом отношении повезло 54-му стиху последней пушкинской поэмы — некогда В. Б. Шкловский назвал Адмиралтейскую иглу

«Богиней цитат» (Шкловский Виктор. Сентиментальное путешествие. Воспоминание. 1918—1923, Л., 1924). «Адмиралтейская игла» — прозу под таким заглавием хотел писать Андрей Белый, а петроградские поэты начала XX века склоняли ее буквально по всем надеждам (из тех, разумеется, которые четырехстопный ямб допускает для этого сочетания):

И сердце радостью трепещет,
И жизнь по-новому светла,
А в бледном небе ясно блещет
Адмиралтейская игла.

Г. Иванов. «Опять по площади Дворцовой...»

Петровских линий огоньки
По-прежнему глядятся в мглу,
Ты снова видишь маяки,
Адмиралтейскую иглу.

Б. Коплан. Стансы

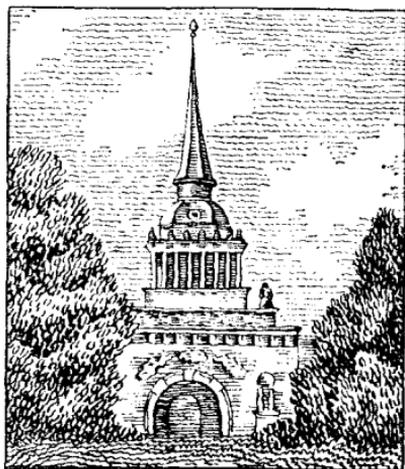
Санкт-Петербург — гранитный город,
Внесенный Словом над Невой,
Где небосвод давно распорот
Адмиралтейскою иглой!

Н. Агнивцев. Странный город

В чем таилось особое обаяние этого стиха? В нем, как нетрудно заметить, пропущено два схемных ударения четырехстопного ямба при том, что стих составлен из двух слов. Он завершает синтаксический и интонационный период. По формулировке М. Л. Гаспарова, «известно, что в ямбе и хорее от начала к концу строфы нарастает количество неполноударных строк: строфа стремится начаться строкой типа «Люблю тебя, Петра творенье», а кончиться строкой типа «Адмиралтейская игла». Такая последовательность строк воспринимается как последовательное облегчение стиха («ускорение», «заострение»). Причина такого восприятия понятна: четыре слова начальной строки требуют для своего узнавания четырех психологических усилий, два слова последней строки — двух» (Гаспаров М. Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М., 1974). Ощущение «заострения» оказалось созвучным изображенному в стихе предмету — острою. Укол, «шпилька» синтаксического периода совпал и как бы проиллюстрировал лексическую тему стиха.

54-й стих вошел в самую плоть русской речи, не утратив своей почти жестовой выразительности и стиховой поступи. Наоборот, растворившись в языке, он всегда напоминает нам

о том, что существует «стихов российский механизм». Любопытно в этой связи привести один пример из русской прозы Герой повести замечательного советского историка литературы и языковеда Г. П. Блока, двоюродного брата Александра Блока, «Одинокство» (1929), петербуржец, воспринимающий свой город «в тайном что ли восторге... да, да, в настоящем, понимаете ли, восторге, в блаженных, разрешите сказать, слезах умиления», в разлуке с Петербургом сжевечерне в белые ночи «свершает следующий обряд.



Поднимается на крыльцо со словами:

— И светла... (открывает дверь и входит в сени).

— Ад... (затворяет за собой дверь).

...ми... (щелкает ключом один раз)

...рал... (щелкает второй раз)

...тейская игла (весьма учтиво кланяется закрытой двери и даже прищелкивает каблучком)».

И впрямь для петербуржцев нескольких поколений цитирование этого стиха было чем-то вроде заклинания, обрядового призывания. Тот же Г. П. Блок вспоминал о своем дяде Александре Львовиче, отце Александра Блока: «...мы возвращались вместе в карете. Когда въезжали на Николаевский мост, Александр Львович, глядя на тот берег, сказал:

Светла

Адмиралтейская игла.

И улыбнулся смущенно» (Блок Г. Герои «Возмездия». — Русский современник, 1924, № 3). А мать Блока в автобиографическом рассказе вспоминала: «Наступала белая ночь. А я люблю белые ночи. И про себя я повторяла: „прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампы, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла“, хотя иглы этой мне совсем не было видно» (А. Кублицкая. То было раннею весной. Из дневника. — ИРЛИ, ф. 654, оп. 4, сд. хр. 6, л. 11, об.).

Как и фальконетовский монумент, адмиралтейская игла в литературном сознании двух веков поочередно отождествлялась то с солнечным, то с лунным божеством. С солнцем и весной ее связывала давняя городская легенда о том, что ласточки, прилетая в Петербург, сначала направляются к Адмиралтейству — посмотреть, цела ли игла (эту легенду приводит в одной из своих работ краевед П. Н. Столпянский). И в литературе эта игла издавна предстает в закатном отсвете. В очерке «Один вечер минувшего лета», напечатанном в журнале «Сын Отечества» (т. XXXV) в том же 1833 году, когда был написан «Медный всадник», рисуется вид на Петербург из Тентелева: «Вот золотой корабль Адмиралтейства реет по воздуху, чуть поддерживаемый тонким золотым лучом». И в нашем веке — в «Петроградских виденьях» Сергея Городецкого:

Бесславно час заката минул.
Последний луч вверху, среди птиц,
Корабликом своим откинул
Адмиралтейства славный шпиль.

Сознательно воскрешая традиции классицизма, поэты 1910-х годов сопрягали городской ландшафт с мифологическими реминисценциями:

Уж с улиц, прямых и пустынных,
Ночная исчезнула мгла.
Над сонмом кварталов старинных
Блеснула золотая игла.

Ночь в море, далекая, топет,
Движение сильней, все шумней —
То Гелиос по небу гонит
Квадригу крылатых коней.

В. Княжнин. В Петербурге

Но у золотой иглы была и «лунная» ипостась. Адмиралтейский шпиль претерпевал в российском поэтическом хозяйстве те же трансформации, что и статуя Петра, — в скольких стихотворениях, говоря словами одного поэта, «сверкает шпиль Адмиралтейства, поймав на острие луну».

Поэты начала двадцатого столетия стремились втянуть медного императора в единоборство с многообличными аллегорическими противниками. Личины антагонистов конфликта разнообразны, но по большей части, царственный ездок символизировал победительный творческий, формообразующий порыв, преодолевающий косность, аморфность, морок болотных туманов. И в те же смысловые антитезы поэты вовлекали адмиралтейскую иглу:

Утраченного чародейства
 Веселым ветрам не вернуть!
 А хочется Адмиралтейству
 Пронзить лазоревую муть.

М. Кузмин. «Утраченного чародейства...»

Может показаться, что с точки зрения всего пушкинского сюжета предмет, обозначенный 54-м стихом, — это «проходная» деталь. Но «тайное сродство» с заглавным героем поэмы объясняет притягательность этой реминисценции для поэтов последующих поколений — прямо или иносказательно поименованная адмиралтейская игла метонимически обозначала весь огромный и необмерный смысловой комплекс «Медного всадника».

В «Адмиралтействе» (II) — стихотворение Бенедикта Лившица адмиралтейская игла сравнивалась с магнитной стрелкой, неизменно влекомой к «арктической цели». Но не менее «намагничивал» ее грозный ореол соседнего монумента, застывшего наездника из пушкинского ночного видения. Магический оттенок «неприкасаемости» передался от одной петербургской достопримечательности другой.

У сатириконца Петра Потемкина в поэме «На рассвете» (1911) описана летняя петербургская ночь:

Но ночи не было. Была
 На всем какая-то тревога.
 Как-будто злая недотрога —
 Адмиралтейская игла
 Улыбкой юной расцвела.

Это же определение использовано и в «Адмиралтействе» Осипа Мандельштама:

Ладья воздушная и мачта-недотрога.

Здесь и неприкасаемый предмет назван перифрастически, образ сдвигается, предвосхищая позднейшую мандельштамовскую метафору Петербурга:

И корабельный лес — высокие дома.
 Кассандре

Маршруты иносказаний, «уклонения» от канонизированного пушкинского образа многообразны. Полисемия слова «игла» открыла дорогу поэтическим каламбурам:

Дыханье бунта. Трубы. Копоть,
 Небес изодранная игла..

Прорехи туч устала штопать
Адмиралтейская игла.

Э. Герман. *Петербург*

Это — из стихотворения начала 1917 года. А десять лет спустя Василий Князев вернул каламбур по месту правожительства — в газетный стиховой фельетон, вызванный поспешным сообщением печати о том, что обвал адмиралтейского шпиля возможен при первом же шторме. От лица всех присяжных стихотворцев он восклицал в стихотворении «Караул!»:

Ах, без иглы адмиралтейской,
Лоскутных строчек швец злодейский,
Куда я к дьяволу гожусь?

В какие-то периоды литературного процесса острее Адмиралтейства уступало в популярности другим петербургским шпилям — оставаясь при этом их литературным прообразом. Рецензент «Русского современника» (№ 4) отмечал в 1924 году штампы текущей литературы: «Здесь и блоковские ветры, и в тысячный раз потревоженный призрак Петра-строителя, и стертый от бесчисленных прикосновений Петропавловский шпиль (вариант адмиралтейской иглы)...». Во всевозможных метафорических обличьях живет *адмиралтейская игла* и в поэзии наших дней, но это уже тема отдельного разговора.

Рига

Рисунок В. Леонова

Пушкин о Дельвиге



М. Ф. МУРЬЯНОВ,
кандидат филологических наук

Ближайшим другом и *парнасским братом* Пушкина был А. А. Дельвиг (1798—1831). Пушкин свято чтит память безвременно скончавшегося лицейского сверстника и имел намерение принять участие в коллективном написании его биографии. Этот замысел не осуществился, но есть набросок неоконченной статьи «Дельвиг», написанный Пушкиным не позднее 1834 года.

Здесь Пушкин, между прочим, рассказывает о первом выступлении Дельвига в печати. Оно состоялось летом 1814 года на страницах московского журнала «Вестник Европы» (№ 12); в следующем номере этого же журнала впервые опубликовался Пушкин («К другу стихотворцу»). Пушкин высоко оценивает первые произведения Дельвига, «носящие на себе печать опыта и зрелости». Далее он говорит то, на чем нам придется сосредоточиться: «Впрочем, никто не обратил тогда внимания на ранние опресноки столь прекрасного таланта! Никто не приветствовал вдохновенного юношу».

По поводу *опресноков* — слова, больше у Пушкина ни разу не встречающегося, «Словарь языка Пушкина» (т. 3. М., 1959) дает определение: «Хлеб из пресного, неквашеного теста. Перепосно».

Итак, слово, буквально обозначающее хлеб из пресного, неквашеного теста, в переносном употреблении применено к стихам, о которых пужно было каким-то образом сказать, что они хорошие. Лексикограф почти ни в чем не ошибся — но, увы, ничего не объяснил. Обращение к другим словарям дает возможность убедиться, что это переносное значение не засвидетельствовано ни в русском литературном языке на всем протяжении его истории, ни в других известных Пушкину языках. Налицо единственная в своем роде образность, которую нужно понять.

Широко известны разработанные литературоведением мысли Пушкина о высоком гражданском назначении поэзии, о месте литературы в общественной жизни. В этом Пушкин был и остается

нашим учителем, его взгляды нам близки и понятны; в сущности, это — наши взгляды. Но мы очень мало говорим о свойственных пушкинской эпохе представлениях о природе художественного творчества, поскольку сегодня связанные с творчеством понятия больше не выражаются в образах нимф, муз, Пегаса, Парнаса, Феба, как это было принято прежде. В этой системе образов все же необходимо уметь ориентироваться, чтобы, оставаясь при своем мнении, правильно понимать наших предшественников, от которых мы получили в наследство язык русской классической литературы.

Существовал в пушкинскую эпоху своего рода культ поэзии, а поэты мыслились жрецами этого культа. Так и у Пушкина:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон...

Поэт, 1827

Священнодействия жрецов состояли в принесении на алтарях жертв богам. Описание ритуала жертвоприношений есть у Гомера, Эсхила, Геродота. Но что такое жертва и зачем она нужна — оставалось неясным, спорным. Сократ задавался резонным вопросом: неужели всемогущие боги вообще в чем-либо нуждаются, и тем более нуждаются ли они в дарах, исходящих от людей? На это неизменно находились возражения — например, у Сенеки, указывавшего, что суть не в материальной ценности жертвоприношения, а в чувстве, с которым жертвоприношение совершается: его нужно совершать с чистым сердцем и благородным, добродетельным намерением (*mente pura, bono honestoque proposito*). Если человек привел себя в такое состояние — значит, цель жертвоприношения достигнута.

Юстин Философ (I в. н. э.) был первым, кто назвал жертвой евхаристический хлеб. Одна из его разновидностей, впервые упомянутая у Алкуица (конец VIII в.), — те самые опрессноки, которые благоговейно съедались удостоившимися христианами в кульминационный момент храмового ритуала; в пушкинское время опресснок представлял собой тощую белую таблетку из чистой шпичной муки, замешанной на естественной воде.

Особенно высоко ценилась уже в самых архаических культовых отправлениях жертва, представлявшая собой что-либо первое — частичка первого охотничьего трофея, первые колосья снимаемого урожая, первый хлеб из него, первая струя молока, молодого вина, оливкового масла, первый ягненок, родившийся в стаде. Для обозначения такой жертвы существовало латинское

слово *primitiae* — существительное женского рода, употребительное только во множественном числе. От него произошло французское *les prémices*, стилистически возвышенное и вместе с тем вполне пригодное для метафорического применения к современности. Так, в нормативном «Словаре Французской Академии» отмечено, что слово это может употребляться фигурально, обозначая первые плоды умственной деятельности, первые движения сердца; здесь же дается пример: *Il a tenu à vous consacrer les prémices de son talent* — для него было дорого желание посвятить вам первые плоды своего таланта (*Dictionnaire de l'Académie Française*, t. 2. Paris, 1935, p. 396). Заметим, что русское *первые плоды* — выражение нейтральное, тогда как французское *les prémices* имеет ясно выраженный сакральный привкус.

Пушкин знал французский язык настолько хорошо, что, как и многие его русские сверстники, он «думал по-французски» — и был поставлен перед необходимостью выразить по-русски семантику французского *les prémices* при отсутствии готового русского эквивалента. Пушкин его построил сам, употребив выражение *ранние опресноки*. Здесь церковнославянизм *опресноки* придает выражению оттенок сакральности, а поэтический эпитет *ранние* подчеркивает значение первенства.

У существительного *опреснок* есть редкостная семантическая особенность: будучи церковнославянизмом, он обозначает реалью, славянской церкви принципиально чуждую, являющуюся специфической принадлежностью церкви западной. Из этого остается сделать вывод, что в пушкинском контексте *ранние опресноки* играют роль тактичного намека на нерусское происхождение Дельвига, обрусевшего отпрыска остзейского рода, старшего из восьми детей барона А. А. Дельвига. Есть в этом контексте и другая аллюзия — на поэтическое первородство Дельвига, чуть опередившего Пушкина и своим рождением, и первой публикацией своих стихов.

Выдающийся советский литературовед Б. В. Томашевский писал, что пушкинский набросок — «наиболее ценная характеристика Дельвига, его способностей, развития» (Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1959, с. 7). Теперь мы увидели в должном свете то место этой характеристики, которое раньше не обращало на себя внимания, а на самом деле является ее высшей точкой. Пушкинский контекст заслуживает включения

в Большой академический словарь русского литературного языка и даст в нем новую рубрику в лексической дефиниции на *опресноки* — пужной еще и потому, что этот же образ, совершенно независимо от Пушкина, но примерно в том же значении, возник в философском романе Леонида Леонова «Русский лес» (Глава XII, 1).

Дельвиг, Дельвиг! Пиши ко мне и прозой и стихами; благо-
словляю и поздравляю тебя: добился ты наконец до точности
языка — единственной вещи, которой у тебя недоставало.

А. С. Пушкин

Твой слог могучий и крылатый
Какой-то дразнит пародист,
И стих, надеждами богатый,
Жует беззубый журналист.

А. С. Пушкин — А. А. Дельвигу

К 175-летию со дня рождения В. Г. Белинского

Белинский о слоге и слог Белинского

Л. Р. ЛАНСКИЙ,

кандидат филологических наук

А. С. Пушкин успел оценить в молодом Белинском «талант, подающий большую надежду», независимость мнений и остроумие.

Он чувствовал в нем человека, близкого по духу и взглядам.

Суждения Белинского о языке и стиле нередко совпадали с важнейшими суждениями Пушкина — даже с теми, которых тот знать не мог, т. к. при жизни поэта они опубликованы не были.

В этом поразительном факте, впрочем, нет ничего загадочного: эстетические воззрения Белинского формировались и развивались под непрерывным воздействием художественного мира Пушкина и его поэтической практики. «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей, без них блестящие выражения ни к чему не служат...» и «Что касается до слога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное: истина, искренность» — таковы основополагающие суждения Пушкина по этому вопросу (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. XI, с. 17—18 и т. XVI, с. 35).

Слог... — Этот литературоведческий термин, сравнительно недавно ставший архаизмом, в прошлом веке и в начале нынешнего имел самое широкое распространение. Его понемногу теснил, а затем и совсем вытеснил синоним *стиль*. Ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у писателей более позднего времени мы *стиля* еще не найдем.

Белинский определял слог как «данное природою умение писателя употреблять слова в их настоящем значении,

выражаясь сжато, высказывать многое <...>, тесно сливать идею с формой и на все налагать оригинальную, самобытную печать своей личности, своего духа» (Белинский В. Г. Полн. собр. сочинений в 13 тт. АН СССР, 1953—1959 гг. Т. V, с. 454).

Разницу между языком и слогом В. Г. Белинский видел в следующем:

«К достоинствам языка принадлежит только правильность, чистота, плавность, чего достигает даже самая пошлая бездарность путем рутины и труда. Но слог — это сам талант, сама мысль; слог — это рельефность, осязаемость мысли; в слоге весь человек; слог всегда оригинален, как личность, как характер <...> По слогу узнают великого писателя, как по кисти — картину великого живописца...» (т. VIII, с. 78—79).

Убежденный и последовательный сторонник правдивого воспроизведения в литературе жизненных явлений, Белинский, как и Пушкин, выше всего ценил в *слоге* точность, естественность, простоту, краткость. Определения *точный, естественный, простой, краткий, сжатый* в разных вариантах и сочетаниях почти всегда присутствуют в его одобрительных отзывах, о *слоге* и языке.

Именно у Пушкина Белинский находил совершенное воплощение своего эстетического кредо. Сосредоточенный и серьезный анализ творчества Пушкина преображался у Белинского, когда он касался языка и *слога* поэта, — переходил в восторженный гимн, в пылкое любовное послание, в насыщенный красочными метафорами, образными сравнениями, смелыми сближениями монолог. Вот один из примеров: «Античная пластика и строгая простота сочетались в нем с обаятельно игрою романтической рифмы. Всё акустическое богатство, вся сила русского языка явились в нем в удивительной полноте; он нежен, сладостен, мягок, как ропот волны, тягуч и густ, как смола, ярок, как молния, прозрачен и чист, как кристалл, душист и благовонен, как весна, крепок и могуч, как удар меча в руке богатыря. В нем и обольстительная, невыразимая прелесть и грация, в нем ослепительный блеск и кроткая влажность, в нем все богатство мелодии и гармонии <...>, в нем вся нега, всё упоение творческой мечты, поэтического выражения...» (VIII, 318).

Выдающиеся достоинства языка и *слога* Лермонтова и Гоголя — гениальных продолжателей Пушкина — вызвали

у Белинского схожие эмоциональные взрывы: «Можно сказать без преувеличения, что поэт брал цветы у радуги, лучи у солнца, блеск у молнии, грохот у громов, гул у ветров, что вся природа сама несла и подавала ему материалы, когда писал он эту поэму...» (из отзыва на «Мцыри» Лермонтова. — IV, 543).

Характеризуя удручающее безвременье, парализовавшее русскую литературу после внезапной гибели Пушкина, Белинский провозгласил появление «Мертвых душ» как событие, несущее обновление родному искусству:

«И вдруг, среди этого торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди этих пустоцветов и дождевых пузырей литературных, среди этих ребяческих затей, детских мыслей, ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной народности, — вдруг, словно освежительный блеск молнии среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника русской жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстью, нервистою, кровною любовью к плодовитому зерну русской жизни; творение *необъятно художественное по концепции и выполнению*, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта — и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое...» (VI, 217).

Естественность, простота, разговорная легкость и народность слога Крылова; *убийственная сила сарказма, едкая ирония, сжатость, молниеносность чисто русского стиха* Грибоедова; *верность духу русского языка, изящная простота и самобытность* слога Пушкина; *сжатость, краткость, энергия, многозначительность каждого слова* у Лермонтова; *яркость, оригинальность, рельефность, живописность и точность* слога Гоголя — вот какие эталоны художественности, языка и стиля противопоставлял Белинский романистам и стихотворцам «заднего двора расейской словесности», с их вычурностью и фальшью, безвкусицей, маниловской манерностью, риторичной декламационностью, утрированным живописанием небывалых и невозможных страстей и душевных движений. Корчуя и выжигая репейники «рыночной» литературы, В. Г. Белинский давал бой за боем не только откровенной галиматье «базарных писак» с их «диким, дутым, бессмысленным слогом», но и знамени-

ностям 1830-х годов, прозаикам и версификаторам,— беззастенчивым эпигонам русского и западноевропейского романтизма, которые, потворствуя невзыскательным вкусам «толпы», подделывались под мысль и под чувство, прибегали к фразерству, взвинченным метафорам и диким сравнениям — словом, к внешней и обманчивой виртуозности слога в ущерб истинной художественности и общественно важным задачам.

В. Г. Белинский не фетишизировал *слог* и видел в нем лишь одну из сторон нерасторжимого единства формы и содержания. Только та форма прекрасна, утверждал он, которая согласна с идеею произведения. Прошло то время, подчеркивал критик, когда на литературное произведение смотрели только с точки зрения языка и *слога*. Эта «стилистическая» критика, возглавлявшаяся Карамзиным, к середине 1820-х годов уже изжила себя, став уделом эпигонов. Несмотря на это, «мелочная критика», т. е. эпигоны эпигонов, в течение 1830—1840-х годов не переставала придирается к крупнейшим писателям реалистического направления, упрекая их в «порче» русского языка, в засорении его прозаизмами, варваризмами, диалектизмами, неологизмами... Белинскому не раз приходилось вступаться за них, втолковывая всякого рода «грамотеям и корректорам», что они из предвзятости и непонимания смешивают язык и *слог* (хотя между этими понятиями существует неизмеримая разница) и стараются скомпрометировать отдельными погрешностями (действительными и мнимыми) новаторские и индивидуализированные особенности слога истинных художников.

«У Гоголя,— писал он, например,— есть нечто такое, что заставляет не замечать небрежности его языка, есть *слог*. Гоголь не пишет, а рисует; его изображения дышат живыми красками действительности. Видишь и слышишь их. Каждое слово, каждая фраза резко, определенно, рельефно выражает у него мысль, и тщетно бы хотели вы придумать другое слово или другую фразу для выражения этой мысли. Это значит иметь *слог*, который имеют только великие писатели...» (VI, 355).

Любопытно сопоставить это высказывание Белинского со следующими строками В. И. Даля из его письма к М. П. Погодину от 1 апреля 1842 г.: «Удивительный человек Гоголь! Увлекаешься рассказом его, с жадностью проглотишь все до конца, перечитаешь еще раз и не заметишь,

каким диким языком он пишет. Станешь разбирать крохоборчески — видишь, что совсем бы так писать и говорить не следовало, попробуешь поправить — испортишь, нельзя тронуть слова» (Литературное наследство. Т. 58. М., 1952, с. 617).

Приоритет мысли, «пластическая простота» и естественность слога, по убеждению В. Г. Белинского, являлись обязательными условиями литературного произведения. К этому присоединялось и третье условие: верность слога, верность языка русскому национальному духу, т. е. *народность* — один из главнейших критериев совершенства в эстетическом кодексе В. Г. Белинского.

Несмотря на исключительное богатство, красочность и выразительность русского народного языка, круг отражаемых им явлений был узок и не мог удовлетворять заметно усложнившиеся требования общественной и частной жизни. Но это, как считал Белинский, не должно было отвращать писателей от родной языковой стихии: им надлежало постоянно черпать из животворных источников национальной лексики, фразеологии, образного строя, свойственного народу. «В народной речи,— писал он,— есть своя свежесть, энергия, живописность, а в народных песнях и даже сказках — своя жизнь и поэзия<...> Должно их собирать, как живые факты истории языка, характера народа» (VIII, 250).

Русскую народную поэзию Белинский хорошо знал и любил; он не раз выражал сердечную признательность самоотверженным собирателям фольклора (слова этого, впрочем, в русском словаре тогда еще не было).

Без устали восхищался В. Г. Белинский глубинным проникновением Крылова в недра русской народной стихии, хотя басню как род поэзии он считал безнадежно устаревшей.

По словам В. Г. Белинского, Крылов выразил с исключительной полнотой главную сторону русского национального духа, причем в оригинально русских, не передаваемых на других языках оборотах. Слава Крылова, предсказывал Белинский, «все будет расти и пышнее расцветать до тех пор, пока не умолкнет звучный и богатый язык в устах великого и могучего народа русского» (II, 407).

К числу неподдельно русских художников слова В. Г. Белинский относил и своего близкого друга А. Коль-

цова, никогда не вступавшего в противоречие с народной стихией — «ни в чувстве, ни в выражении»: «Даже в слабых его песнях никогда не найдете фальшивого русского выражения; но лучшие его песни представляют собою изумительное богатство самых роскошных, самых оригинальных образов в высшей степени *русской* поэзии. С этой стороны язык его столько же удивителен, сколько и неподражаем» (IX, 536).

«Филологи, грамматики и литераторы не творят языка, а только сознают его законы и приводят их в ясность; язык творится сам собою и даже не народом, а из народа», — резюмировал свою излюбленную мысль Белинский (II, 548). Именно этим неизменным убеждением критика объясняется его резко отрицательное отношение к коренной *переработке* русских народных сказок — даже к таким шедеврам, как сказки Пушкина, хотя в своем подлинном, народном виде они представляли для Белинского многосторонний, не только эстетический, интерес — и как предмет изучения исторических форм сознания, и как живое свидетельство развития русского языка, и как предвестник его грядущих судеб.

Демократизм языка и слога Крылова, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, взращенный на народной лексике, родных речевых оборотах, «русизмах» и обогащенный культурными влияниями, русскими и зарубежными, встречал горячее одобрение Белинского. С другой же стороны, поминая добром поистине историческое значение Карамзина и его стилистической реформы, Белинский не мог не признать слог и язык его беллетристических произведений бесцветным, лишенным национального колорита и безнадежно устаревшим. «Как один из замечательнейших моментов развития русского языка мы принимаем карамзинский язык с любовью, уважением, благодарностью и даже, если хотите, с удивлением; но нам и даром не нужно карамзинского языка, если в нем должно видеть совершенно установившийся язык русский... Мы думаем, что если Крылов и обязан Карамзину чистотой своего языка, то все же язык Крылова во сто раз выше языка Карамзина, по той простой причине, что язык Крылова до *nes plus ultra* (крайних пределов, лат.) язык русский, тогда как язык Карамзина только в «Истории государства Российского» обнаружил стремление быть языком русским, а до тех пор обнаруживал стремление

только не быть славяно-латинско-немецким или Ломоносовским языком (что и было со стороны Карамзина великою заслугою) <...> Явился Пушкин — и русский язык обрел новую силу, прелесть, гибкость, богатство, а главное — стал развязан, естествен, стал вполне русским языком...» (IX, 223).

Белинский был не только «Пушкиным русской критики», как порой его называют, не только выдающимся публицистом, теоретиком и историком литературы, основоположником и реформатором газетно-журнального стиля, но и подлинным создателем того «метафизического» языка — языка отвлеченных понятий, языка философского, общественно-политического, историко-литературного, научно-популярного — об отсутствии которого в России лет за пятнадцать-двадцать до того так скорбел Пушкин. Чтобы уметь учить, переучивать, убеждать, пропагандировать, одерживая победу за победой в полемических боях и занимая место первого критика России, нельзя было не обладать и виртуозностью стиля, безупречностью эстетического вкуса и огромной эрудицией.

В языке и слоге В. Г. Белинского естественно сочетаются суровая логика мыслителя со страстной эмоциональностью пророка, поэтичность — с полемическим задором, лиризм с юмором и сатирическими красками. Стиль его то эпичен, то нервен и возбужден, то спокоен, как поверхность океана, то до предела насыщен электрическими зарядами...

«Его слог часто бывал угловат, но всегда полон энергии, — писал о Белинском А. И. Герцен. — Он сообщал свою мысль с тою же страстью, с какой зачинал ее. В каждом его слове чувствуешь, что человек этот пишет своею кровью, чувствуешь, как он расточает свои силы и как он сжигает себя; болезненный, раздражительный, он не знал границ ни в любви, ни в ненависти. Часто он увлекался, порой бывал и весьма несправедлив, но всегда оставался до конца искренним» (Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 тт., т. VII, М., 1956, с. 238).

«Ни у кого ухо не было более чутко, — вспоминал И. С. Тургенев, — никто не ощущал более живо гармонию и красоту нашего языка; поэтический эпитет, изящный оборот речи поражали его мгновенно» и отмечал при этом «мужественный и бесхитростно простой» русский язык Белинского, «славный язык, ясный и здравый» (Турге-

нев И. С. Полное собрание сочинений и писем. Соч., т. XIV, с. 44 и 48).

Во времена своей творческой зрелости Белинский, как правило, писал для каждого номера ежемесячного журнала многие десятки страниц крупного формата. Его рукописи, зачастую с еще не просохшими чернилами буквально вырывались у него из рук для немедленного направления в набор...

В истории русской литературы и русского литературного языка Белинский навсегда останется величайшим маяком. Снопы света, отбрасываемые им в нашу сторону почти полтора столетия подряд, не тускнеют, не теряют своей первоначальной яркости и жгучести...

Поэзия есть искусство, художество, изящная форма истинных идей и верных (а не фальшивых) ощущений: поэтому часто одно слово, одно неточное выражение портит всё поэтическое произведение, разрушая целостность впечатления.

В. Г. Белинский

*В. Г. Белинский
и наука
о русском слове*



Г. И. ДОВГАЛЛО,
кандидат филологических наук

Великий русский критик и публицист В. Г. Белинский, в своих статьях высоко оценивший литературное творчество гениальных представителей русской литературы от А. С. Пушкина до Ф. М. Достоевского, много внимания в своих работах уделял русскому языку: его грамматике, стилистике, истории русского литературного языка.

В 30—40-е годы XIX века в области изучения русского языка решались разнообразные и сложные проблемы. Они больше, чем в какую-либо другую эпоху, сознавались как вопросы общественного значения. В эти годы появились две систематические грамматики русского языка (А. Х. Востокова и Н. И. Греча), оказавшие большое влияние на всю научную и учебную лингвистическую литературу XIX века. Языковые проблемы интересовали не только специалистов; статьи лингвистического содержания охотно печатали и литературные журналы; организовывались публичные чтения о русском языке, которые имели большой успех.

В. Г. Белинский не мог остаться в стороне от обсуждения лингвистических вопросов, волновавших русскую общественность.

Теперь эта сторона его деятельности заслонена тем громадным значением, которое Белинский имеет в истории русской литературы и в литературной теории как критик.

Но вспомнить об этом интересно.

За свою короткую жизнь В. Г. Белинский довольно много преподавал. Начало его педагогической деятель-

ности относится к 1829 году, времени его пребывания в Пензенской гимназии, где местное пачальство, зная его способности к русскому языку, оставляло его для занятий с учениками первого класса вместо заболевшего учителя. В числе учеников был будущий виднейший русский филолог Ф. И. Буслаев. Вот, что написал он в своих воспоминаниях о преподавании В. Г. Белинского: «...Белинский был моим учителем русского языка в 1829 году, когда я только что поступил в первый класс гимназии, а он только что кончивши в ней курс, не мог за недостатком средств отправиться в Московский университет, как он намеревался, и, оставаясь в Пензе, в звании ученика гимназии, занимал вакантную должность учителя...» (Буслаев Ф. И. Мои воспоминания, 1897, с. 46—47). Приехав в Москву поступать в университет и не имея достаточных средств к существованию, Белинский давал частные уроки. Сохранились свидетельства о его педагогической деятельности в домах известного общественного деятеля, участника подготовки крестьянской реформы 1861 г. кн. В. А. Черкасского, директора Медицинского департамента и директора Главного педагогического института Д. А. Кавелина, известного общественного деятеля, родственника декабриста С. Г. Волконского, кн. Волконского. К. Д. Кавелин, в будущем историк, профессор Московского и Петербургского университетов о начале занятий с Белинским вспоминал: «Я познакомился с Белинским впервые зимою 1834 года, когда готовился вступить в Московский университет. Белинский был рекомендован моему отцу князем Александром Александровичем Черкасским (отцом известного кн. Владимира А. Черкасского), с которым он был дружен. Белинский явился к нам в качестве учителя русского языка и словесности, истории и географии. Живо помню первый урок — о логическом строении предложения...» (Белинский в воспоминаниях современников, М., 1977, с. 168). В 1834—1836 гг. Белинский дает уроки «русской грамматики и риторики» М. С. Сухотину: «Уроки, — по свидетельству последнего, — проходили больше в самых разнообразных живых разговорах и спорах...» (Русский архив, 1894, III, с. 73).

Занимаясь преподаванием русского языка, Виссарион Григорьевич пользовался репутацией знатока грамматики. Русский общественный деятель, филолог, поэт Н. В. Станкевич писал, что свои переводы он «подвергал цензорству

Белинского в отношении русской грамоты, в которой он знаток» (Переписка Н. В. Станкевича, М., 1914, с. 368).

Помимо уроков в частных домах, Белинский время от времени искал постоянного заработка, не связанного с литературной работой. В 1836 году он хотел получить место преподавателя в уездном училище в Белорусском учебном округе, но попытка эта почему-то не удалась. Виссарион Григорьевич остался в Москве и продолжал частные уроки.



В 1836 году после закрытия «Телескопа», дававшего ему известный заработок, великий критик в очередной раз испытывал крайнюю нужду. На помощь ему пришел С. Т. Аксаков, занимавший должность директора Константиновского межевого института. Познакомил Виссариона Григорьевича с Аксаковым сын Аксакова — Константин, который хотя и был моложе Белинского по университету, но дружил с ним. Зная, как тяжело Белинскому перебиваться плохо оплачиваемыми литературными статьями и трудно достающимися частными уроками, он предложил ему место учителя в учебном заведении, которым управлял. Посылая начальству бумагу о допущении Белинского к преподаванию русского языка, Аксаков писал, «что он известен своею грамматикой, принятой с большим одобрением знатоками филологии, и своим знанием русской словесности, а равно литературными по сей части трудами» (Русская старина, 1900, апрель — июнь, с. 416).

В Г. Белинский, соглашаясь на эту должность, отвечал С. Т. Аксакову: «Милостивый государь Сергей Тимофеевич! С удовольствием принимая предложение ваше преподавать русский язык в двух старших классах Межевого института, по 9 часов в неделю, с жалованием по 1.300 рублей в год, о чем имею честь вас уведомить. С истинным уважением имею честь остаться вам, милостивый государь, покорный слуга Виссарион Белинский, ... 1838 года марта 10 дня» (Там же, с. 416).

У Виссариона Григорьевича не было документа о праве преподавать. Директор старался обойти это формальное

требование начальства и на официальной бумаге с требованием о предоставлении соответствующего документа сделал отметку: «Сделайте представление об утверждении Белинского в должности учителя в действительной службе: ибо он оказал отличные способности к преподаванию... Директор Аксаков» (Там же, с. 419). С. Т. Аксаков принял Белинского на испытание и считал, что его способности оправдаются успехами его учеников. Не прошло и месяца, как директор института свидетельствовал, что новый учитель оказал «отличные способности в преподавании».

К сожалению, В. Г. Белинский недолго преподавал в Межевом институте, с 10 марта по 22 октября. Возможно, отсутствие официального права на преподавание, а скорее всего всепоглощающая страсть к литературной работе, заставили его вернуться к журналистике.

Из опыта педагогической деятельности критика можно сделать вывод, что в преподавании он на первый план ставил общее развитие ученика. Для достижения этой цели он применял в качестве метода «обыкновенный разговор». 21 июня 1837 года он писал своему родственнику Д. П. Иванову, занимавшемуся с его братом: «Не делай из своих уроков парада, пусть они будут походить на обыкновенные разговоры — это пуще всего, потому что ничто так не отвращает от учения, как форма. В учебных заведениях форма есть зло необходимое, но в домашнем учении нужен только порядок» (Белинский В. Г. ПСС. Изд. АН СССР, М., 1953—1956, т. XI, с. 135).

Учебная практика, а самое главное глубокие знания языка, проникновение в его суть давали Белинскому право рассматривать вопросы русского языка в своих статьях и право на создание учебника грамматики. В 1837 году он выпустил в свет книгу «Основания русской грамматики, для первоначального обучения, составленные Виссарионом Белинским. Часть первая. Грамматика Аналитическая (Этимология). М., в типографии Николая Степанова. 1837».

Над ней он начал работать в 1834 году, о чем есть сведения в переписке с одним из давних друзей, П. Я. Петровым.

Основные лингвистические положения В. Г. Белинского легко проследить по первым же параграфам книги.

Параграф 1. «Человек одарен способностью мыслить и выражать свои мысли посредством слова или языка...»

Параграф 4. «Наука о мышлении называется логикой; наука о слове или языке „Грамматикой“».

Примечание к параграфу 5. «Так как слово тесно связано с мыслью, то Грамматика находится в тесных отношениях с Логикой, и должна быть основана на ней».

Параграф 6. «Люди говорят не одним языком, потому что у каждого народа есть свой особенный язык, а народов на земном шаре множество; но все языки, несмотря на свое различие, основаны на одних и тех же законах, и, в то же время каждый из них имеет и свои особенные законы».

Уже из этих кратких высказываний видно, что Белинский смотрел на язык как на явление социальное. Он считал, что грамматика находится в тесных отношениях с логикой и должна быть основана на ней. В вопросе о взаимозависимости языков В. Г. Белинскому не была чужда диалектическая точка зрения.

Белинский развивает идею о единстве языка и мышления. Он разделяет грамматику на всеобщую и частную.

Параграф 8. «Всеобщая грамматика есть наука слова человеческого вообще, т. е. она излагает законы, общие всем языкам мира».

Параграф 9. «Частная грамматика содержит в себе объяснения исключительных свойств или особенностей одного какого-нибудь языка».

Параграф 10. «Русская грамматика есть наука о законах и свойствах русского слова или русского языка, т. е. она учит говорить, читать и писать по-русски, согласно с основными законами русского языка и общим употреблением или принятым обычаем».

Белинский различает в грамматике 4 части. 1. «Этимология (словопроизведение) или аналитика:

а) общая, объясняющая общие свойства слов, как условных соединений звуков голоса или выражений понятий;

б) частная, которая рассматривает частные свойства слов, или вообще совокупность звуков как материал для выражения определенных понятий, по их родам и видам.

Часть вторая. Синтаксис (словосочинение) или синтетика:

а) низший, предметом которого являются правила соединения слов, как выражений понятий в предложения, выражающие суждения.

б) высший, предметом которого являются правила соединения предложений, как выражения суждений в периоды, как выражения умозаключения, силлогизма.

Часть 3. Орфография (правописание, письмо).

Часть 4. Просодия (словопроизношение) — произношение слов в разговоре и чтении» (т. II, с. 579—690).

При этом Белинский решительно протестует против узкого практицизма, схоластики, устаревших в науке догм, подчеркивая связь грамматики с общей культурой речи. Практическое значение Грамматики Белинского несомненно, ибо оно опирается на живой русский язык, содержит большой материал, имеющий значение для истории русского литературного языка.

Грамматика Белинского вышла за рамки учебника, став оригинальным научным трудом. Предназначенная для первоначального образования, она толковала о предметах, доступных взрослому, образованному человеку, и была подобна работе Д. Н. Овсяннико-Куликовского «Синтаксис русского языка». Как научный труд она и получила оценку в современной Белинскому критике. К. С. Аксаков в специальной статье, посвященной Грамматике, называл ее «книгой примечательной в нашей ученой литературе». В разборе ее, помещенном в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду», говорилось, что «рациональная, основанная на твердых началах, грамматика г. Белинского составляет довольно значительное приобретение науки о русском слове» (т. II, с. 757).

Со стороны учебного начальства Грамматика не встретила одобрения и не была принята в качестве официального учебника. Белинский напечатал книгу на свой счет (в долг), к сожалению, вместо выгод она принесла автору только убытки. Правда, он надеялся, что неуспех книги временный, и предполагал продолжить свою работу над ней, задумав создать целостную грамматическую систему.

Вскоре после опубликования первой части он писал Д. П. Иванову: «...я пишу вторую часть и теперь обдумываю план большого сочинения под названием «Полный

курс словесности для начинающих». Он будет состоять из нескольких частей или отделений; изданная мною «Грамматика» будет составлять первую часть, во второй будет заключаться низший синтаксис, или теория различных родов предложений, управления и порядка слов; третья часть составит высший синтаксис — теория соединения предложений в периоды, как выражения умозаключения или силлогизма: о порядке предложений, ясности и пр.; четвертую часть составит риторика, или объяснение языка украшенного (тропы, фигуры), различные роды прозаических сочинений. В особенной части изложится подробно просодия, куда войдут теория стихосложения вообще и русского в особенности... С нынешнего дня я принимаюсь за низший синтаксис...» (т. XI, с. 139).

Этот замысел Белинскому осуществить не удалось, однако многих из перечисленных вопросов он касался в различных статьях.

Двадцать шесть статей, заметок и рецензий по вопросам русской азбуки, правописания, грамматики, словаря напечатал Белинский в журналах «Телескоп», «Молва», «Отечественные записки», «Московский наблюдатель», «Современник». Белинский неоднократно разбирал книги для детского чтения, буквари, учебники грамматики и риторики.

В статьях и рецензиях В. Г. Белинский обнаружил большую эрудицию в вопросах русского языкознания и показал себя вполне сложившимся лингвистом. Иногда, судя по заглавиям и по тематике, статьи как будто не имеют никакого отношения к языковым проблемам (рецензии на философские, исторические книги, на книги по шелководству, на исторические романы), на деле же они содержат интересные высказывания по вопросам языка.

Главным требованием к пишущим у Белинского было «„знание“ своего языка, умение свободно и правильно выражаться на нем словесно и письменно». Так, рецензируя книгу Юдицкого по шелководству (1839), он писал, что она написана языком, «способным отвратить от всякого чтения и от самого шелководства» (т. III, с. 263).

Позиция В. Г. Белинского в вопросах языка была прогрессивной и являлась развитием передовых, материалистических воззрений, которые наметились в русской языковедческой науке до него.

Отмечая роль великого русского критика в преподавании русского языка, его заслуги в разработке вопросов языкознания, следует помнить, что он, прежде всего, своим творчеством, живым пониманием народной речи сыграл выдающуюся роль в создании ясного и выразительного слова, в усовершенствовании синтаксических форм, расширил, обогатил общественно-политический словарь и философскую терминологию.

Он всю жизнь боролся за простоту, правдивость и народность русской литературной речи.

Рисунок Б. Захарова

Сначала у людей бывает мало слов, потому что вначале у них бывает мало понятий и идей, но с постепенным расширением круга их понятий и идей постепенно увеличивается и число их слов, а вместе с тем и самые слова становятся сложнее и длиннее чрез составление одного слова из нескольких слов и наращение окончательных форм.

В. Г. Белинский



„Главный учитель
родного языка —
народ“

О прозе С. П. Антонова

А. В. ОГНЕВ,

доктор филологических наук

Рассказы и повести известного советского писателя С. П. Антонова «Весна», «Тетя Луша», «Разноцветные камешки», «Порожний рейс», «Поддубенские частушки», «Дело было в Пенькове», «Разорванный рубль» привлекли читательское внимание искренностью, душевной теплотой, любовью к человеку. Писателю присущи и добрый юмор, и ясная улыбка, и умение находить прекрасное в повседневной жизни, наполненной «трудом и любовью, радостями и горестями», интересной «в самых малых мелочах».

С. Антонов неоднократно писал о том, что изучение устного народного творчества необходимо каждому добросовестному художнику. По его мнению, фольклор «очень помогает воспитать чуткость к языку». Прослеживается, однако, и обратная связь: «Знать русский язык без знания фольклора — невозможно», — утверждает писатель. Пословицы и поговорки, считает он, дают хорошую «возможность почувствовать грамматический строй родной речи».

Писатель постоянно и умело отбирает из живой речи меткие выражения — плод народной мудрости, наблюдательности. Однажды на колхозном собрании долго обсуждали важную житейскую проблему. Антонов, заинтересовавшись, спросил у одной женщины, что же колхозники решили. «Ничего не решили, — ответила она. — А накурили — мухи внизу». И как не использовать потом это интересное наблюдение!..

Антонов мастерски воссоздает мелодию народной речи, искусно использует синонимические средства русского языка и умеет найти для фразы наиболее точное, эмоционально весомое, зримое слово. Обратимся к его рассказу «Песня» (1959). В своеобразном предисловии к циклу рассказов «На военных дорогах», куда во-

шла и «Песня», объясняется, что они записаны со слов «бывшего старшины», а ныне повара Степана Ивановича. После этого сообщения даже самый неискушенный читатель поймет, что повествование ведется от лица бывалого человека, много знающего, много видевшего, умудренного тяжелой войной и пележкой трудовой жизнью. «Сидит он (Ишков — А. О.), задумавшись, подкашливает, примеряется к песне (здесь и далее курсив наш — А. О.). Прежде цели редко — некогда было. Работали много — только сядешь, глядишь, ко сну клонит. А сейчас песне самое время: делать нечего и душа склоняется на думу и на мечту. Уставился пожилой солдат на осину, глядит не сморгнув, словно с нее ноты читает, и выводит помаленьку про колокольчик, дар Валдая. А Ишков подкашливает, собирается пристать. И выходит на опушку песня робкая, тихонькая, словно сомневается — нужно ли, признают ли за свою, словно примеряется — ко времени ли. Достигает она Хлебникова, который пришивает свежую латку на рукав, и встряхнулся Хлебников, как кочет на зорьке, прислушался к чему-то внутри себя и вот уже принимает песню своим *линялым* голосом, *подстраивается* к ней, *торопится попасть в ногу*. А она идет дальше, завлекая одного и другого, и запевают солдаты, продолжая свои дела, и поют, сами того не замечая, словно дышат. Песня видит, что пужна и желанна, *ходит, как хозяйка*, и все новые и новые голоса пристраиваются к ней, и каждый норовит *украсить ее своим особым бантиком*. Тут Жохов и подошел. И как раз в эту минуту суровые солдатские *голоса окантовал чистый тенор* Ишкова, и *заблестела песня, словно надели на нее золотой кокошник, и пошла дальше, как царевна*».

Конечно, как почти в любом произведении, написанном от первого лица, читатель сталкивается здесь с известной литературной условностью. Так, автор обогатил речь героя своей лексикой и своими интонациями. Желая «обмануть» читателей, он лишь придал легкую народно-разговорную окраску речи героя, создал своеобразный колорит. И читатель охотно поддается этому «обману», привыкает к этой условности, а затем просто-напросто забывает о ней и даже о самом рассказчике. И начинает смотреть на мир глазами Степана Ивановича, а тот судит о жизни конкретно, вещественно, реально ощутимо.

Герой-рассказчик редко нарушает грамматические законы русского языка («по этой шоссе», «прямо не война — санатория»). Шолоховский дед Щукарь к месту и не к месту щеголял словечками иностранного происхождения и часто так их коверкал, так забавно их переосмысливал, что вызывал у читателей заразительный смех, Антоновский Степан Иванович тоже изредка прибегает

к необычным для простонародной речи книжным словам, пришедшим к нам из других языков. Он употребляет их в правильной грамматической форме и хотя в необычном, но почти верном значении. При их помощи автор не только определяет житейский опыт пожилого человека, его психологическое состояние, отношение к тому или иному явлению, но и придает его речи добродушный юмористический оттенок. Разве не вызовут у нас легкой доброй улыбки рассуждения Степана Ивановича о политруке: «Был он молодой, лет двадцати пяти, не больше, а имел высшее образование и *авторитетно* говорил по-немецки». Или вот он рассказывает о виртуозе-плотнике Васильеве: «А до работы доберется — залюбуешься: топор у него в руках и так и этак *кокетничает*». И «авторитетно» и «кокетничает» будто и употреблены не совсем к месту, но как эти слова «омолодили» фразы...

Антонов умело использует для характеристики персонажей их речь. Читатель при этом всегда чувствует, каким тоном разговаривает его герой. Нельзя не услышать тоски, задумчиво-печального тона дедушки («Дедушка»), которому не с кем поделиться своим горем, своими заботами: «Другие, честь по чести, всей семьей думают, а я остался один как перст. Сижу да гляжу, как мимо меня курения едут...» Другой синтаксический строй, другие интонации выражают раздражение старого человека. «А ты почем знаешь, какие у меня сыны? — закричал вдруг Прокофий Никитич. — Только у них и дел, чтобы писать письма. Только ученым людям и дел, в какую сторону окнами курень ставить. Ставь, где хошь, хоть на болоте. Им-то что».

Писатель вводит в текст малоупотребительные профессионализмы, диалектизмы лишь в том случае, если они необходимы для характеристики персонажей, для создания особой стилистической атмосферы в произведении.

Антонов не раз выступал против разного рода языковых штампов. Можно вспомнить, как шофер Николай из «Порожного рейса» (1960) с презрительной усмешкой и затаенной грустью повторял молодому журналисту то, что писали о нем в газетах: «Вернулся я сюда, в родные края, из армии с правами шофера и с большой мечтой — работать в леспромхозе..., решил после армии поработать, как говорится, на переднем крае. Где нужней... Таков уж, как говорится, характер советского человека». И внезапно герой спрашивает журналиста: «Ты заводную ручку можешь вращать?» И дальше: «Мой характер складывался в годы послевоенных пятилеток, когда наши люди одерживали трудовые победы и яркие звезды спутников устремлялись в далекие небеса...» Здесь Антонов зло издевался над приевшимися ура-торже-

ственными фразами газетных статей, очерков, стихотворений, повестей и рассказов, сделанных при помощи «заводной ручки».

В повести «Разорванный рубль» (1966) Аптонов наделил языковыми штампами речь рассказчицы Маруси Лебедевой — молодой колхозной активистки. Язык ее представляет собой колоритную смесь разговорной речи и газетно-канцелярских оборотов. Спокойно, как о должном и хорошем, Маруся рассказывает: «На всех трех этажах размещаются гостинные, приятно оформленные наглядной агитацией. На бархатных панелях прибиты золотые буквы, призывающие отдыхающих к упорному труду. Всюду порядок». Здесь отчетливо чувствуется авторская точка зрения, полная разящего сарказма, страстно отрицающая вопиющую нелепость. Сама рассказчица, ее духовное, нравственное возрождение — цель авторского исследования. В повествование то и дело как бы помимо воли этой аптоновской героини врываются горькие интонации, неотразимо воздействующие на читателя.

В повести «Дело было в Пенькове» (1956) авторские описания постоянно переводятся в план живой разговорной речи со всеми присущими ей оборотами и интонациями. Мы быстро осваиваемся с этой манерой повествования, и поэтому нас не смущают такие выражения: «А за деревней, у реки Казанки, в том месте, куда ходят *реветь* пеньковские девчата...»; «На дворе стояла такая темень, что не было видно даже неба. Будто пропало куда-то Пеньково, и во всем мире остался только Матвей, да темная ночь, да строгая тишина, такая тишина, что *кашлянуть совестно*»; «Вон слабо светятся окна в длинной, как вагон, избе Тятюшкиных. У них детишек *целая лесенка*, и лампу, видно, завесили газетой, чтобы не мешать им спать. Вдали яркой звездочкой блестит боковое оконце у Евсея Евсейча. Между этими огоньками густая темень — там изба Матвея. Мать давно подоила корову, оставила на столе крынку с парным молоком и легла. У Глечикова закрыты ставни, но сквозь щели пробиваются ровные линии света: сбегал все-таки старик из правления, повесил снаружи замок, будто его нет дома, а сам, наверное, сидит и пьет чай с конфетами». В последнем отрывке описание дается с точки зрения Матвея. А через несколько строк оно переходит в лирическое отступление и мелодия повествования резко изменяется.

Повесть и характерна этой постоянной сменой интонаций, авторская речь «подстраивается» под того персонажа, о котором идет разговор, воспринимает особенности его мироощущения и склад речи. Эта смена тональностей, эта стихия народно-разговорной речи, умело введенная писателем в авторские описания, и помогает ему избегать протоптанных маршрутов.

Чтобы не прибегать к нарочитой условности и добиться естественности и предельного сближения языка разного рода описаний с живой народной речью, Антонов часто вводит в свои рассказы героя-повествователя — явного, — когда писатель обращается к форме повествования от первого лица, и скрытого, — когда все изображается от лица автора, но с точки зрения персонажа. Понятно, что язык таких произведений связан в той или иной степени (в первом случае — больше, во втором — меньше) с характером, культурным и нравственным уровнем героя-рассказчика.

В рассказе «Главный вопрос» (1954) события даются от автора, но через восприятие Еремеева, типичное для передовых крестьян периода гражданской войны. Это позволило писателю раскрыть сокровенные думы и классовые интересы своего героя, его отношение к В. И. Ленину, самому дорогому для него человеку. Через изменение настроений и взглядов героя Антонов показал могучее воздействие ленинских слов на народные массы, особенно рельефно оттенил мужество и прозорливость вождя.

В «Главном вопросе» точка зрения персонажа (Еремеева) придала авторской речи своеобразную окраску. В ней встречаются характерные для крестьян фразеологические обороты («Изба совсем обветшала, качалась от руки...»), просторечные и разговорные слова (померли, харчи, плутать). Введенные в авторскую речь, они приобретают эмоциональную окраску, способствуют раскрытию психологического состояния героя.

Антонов — мастер живописного портрета, его герои полны скульптурной выразительности. Таким предстает перед нами в «Главном вопросе» В. И. Ленин: «Он (Еремеев — А. О.) видел, как Ленин отодвинул стул, сел у края стола и, вытянувшись, посмотрел в зал, словно кого-то разыскивал. Потом похлопал по одному карману пиджака, по другому, достал блокнот, раскрыл и пригладил картонную обложку, чтобы она не закрывалась». И не случайно здесь так много глаголов, на них лежит главная смысловая нагрузка. Поиск самого меткого и точного глагола — основа поразительной емкости и пластичности антоновской фразы. Примечательно то, что подавляющая часть сравнений в «Главном вопросе» и других произведениях Антонова употреблена в соотношении с глаголами.

Антонов советует молодым писателям: «Бросьте писать во что бы то ни стало „красиво“. Пишите проще». Писать просто — это значит глубоко вникнуть в суть изображаемого явления, довести мысль до совершенной художественной ясности, найти соответствующие стилистические средства для точного, зримого, конкретно-чувственного ее воплощения. Этого можно добиться только при

отличном знании всех сокровищ родного языка, при умении выбрать из него то единственное слово, которое и создает подлинную поэзию, которое и вызывает нужный эмоциональный отзвук в душах читателей.

Вот в повести «Дело было в Пенькове» читаем: «За буфетом находился стол председателя Ивана Саввича, накрытый тяжелым, как могильная плита, зеркальным стеклом». И можно удивиться этому необычному сравнению. Но продолжаем чтение: «Под стеклом виднелись мелкие бумажки, заявления, сводки, накладные, и когда Иван Саввич долго не реагировал на просьбу колхозника, то проситель объяснял своей супруге: „Ну, все. Под стекло попало“, — и безнадежно махал рукой». Оказывается, это несколько странное сравнение поднимается до уровня художественной детали, удачно характеризует взаимоотношения председателя с колхозниками.

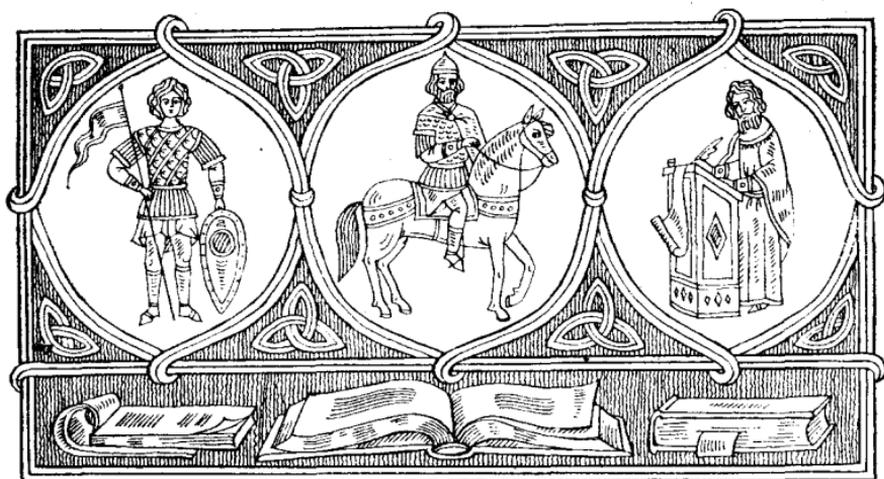
В первых произведениях Антонова некоторые особенно цветистые сравнения, метафоры и эпитеты («плотная кисея ветра трепетала на ее лице»; «бархатно синела кошенина»; «густые, как сметана, облака» и т. д.) лишь отвлекали внимание читателя от сути описываемых событий. Это признавал впоследствии и сам автор. «Бывало, чувствуешь, — писал он, — что рассказ получается худосочным, бледным и начинаешь „начинять“ его деталями, заготовленными впрок в разное время, в наивной надежде, что он от этого сделается „художественней“. А в результате получается нечто расклеенное, непереваренное, наполненное случайными словами: „Выехали в лес. Ветка осины ударила о кабину. Опавшие листья, как лягушки, запрыгали за машиной: стал накрапывать редкий дождь, но солнце светило, и капли раскатывались по пыльной дороге, как ртуть“ (мой рассказ «Лида»). Напишешь эдак, а читатель справедливо недоумевает — к чему тут лягушки и ртуть, и откуда такое могло прийти в голову автору?»

Но уже через несколько лет от этой склонности к самодовлеющей красивости и броскости у Антонова не останется и следа, ее вытеснит стремление к максимальной точности и правдивости. В рассказе «Вдали от передовой» (1948) Антонов пишет: «Небо, усеянное крупными звездами, светилось, и на земле лежали тонкие кисейные тени». В рассказе «Новый сотрудник» (1954) встречается нечто похожее: «Все небо было засеяно крупными, сортовыми звездами». Фразы похожи, но эмоционально-психологическая нагрузка у них различная. Все дело в разном художественном контексте. В первом случае пейзажная зарисовка дается с точки зрения автора, «кисейные тени» и «крупные звезды» оказались эмоционально нейтральными, несоотнесенными с настрое-

нием какого-либо героя. А во втором — пейзаж дается глазами секретаря райкома партии Григория Савельевича, все думы его связаны с урожаем во время постигшей район засухи. Эти мысли не дают ему покоя и тогда, когда он любуется звездным небом. Вот почему и появились в рассказе метафорический эпитет (сортовые звезды) и метафора (засеяно небо). Или вот мы читаем: «Григорий Савельевич видел, как колосья, тронутые теплым, пахучим ветром, робко касаются ее (Маши — А. О.) рук». Он хочет объясниться с девушкой, но не решается этого сделать, колеблется. Редкий в приведенных нами словосочетаниях эпитет *робко* появился как результат конкретных переживаний героя.

Творческий опыт Сергея Антонова подтверждает мысль о том, что нельзя быть настоящим писателем, не зная и не умея эффективно использовать неисчерпаемые сокровища живой разговорной речи и устного народного творчества. Живое и самое непосредственное общение с народом помогает писателю находить новые темы и новых героев, обогащает его словесно-образительные возможности. Как писал С. Антонов, «главный учитель родного языка — народ».

Калинин



Автор «Слова о полку Игореве» в изображении советских писателей

В. И. ТИЩЕНКО,
доктор филологических наук

Проблема автора «Слова о полку Игореве» до сих пор не решена учеными окончательно. Существующие научные гипотезы, кажущиеся достаточно аргументированными и убедительными, не позволяют, однако, прийти к единому мнению по этому вопросу. Отсюда и в художественной литературе Великий Неизвестный, как назвал автора «Слова» Е. Осетров, представлен по-разному. В одних случаях в его образе выражены утвердившиеся научные положения, в других — авторы создают образ героя на основании своей исследовательской и переводческой деятельности, в третьих — просто прибегают к художественному вымыслу, в различной степени обоснованному.

Первым из советских писателей, поставивших вопрос об авторе «Слова», был Г. Шторм. Его «Иронический сказ о походе

на половцев князя Новагорода-Северского Игоря Святославича» (Красная новь. 1926, № 3) представляет собой вольную импровизацию на темы древнерусского памятника.

Отправной точкой при выяснении личности автора «Слова» послужила запись Ипатьевской летописи (1205 г.) о «премудром книжнике» Тимофее. Мнение о том, что Тимофей создал «Слово», не выдерживает критики, поскольку он в сочинении, о котором упоминает летописец, «притчею рече», то есть говорит иносказательно, как типичный церковный книжник. В «Ироическом сказе» Г. Шторма «галицкий книгочий Аир» (так заменено имя Тимофея) тоже ничем не напоминает светского человека: постоянно призывает к покаянию и молитве, ведет разговоры на библейские темы, отдаст предпочтение монашеской жизни перед мирской. Даже участие в походе 1185 года мотивирует прежде всего религиозными соображениями, а создание «Слова» — уходом Игоря в монастырь.

В последние 50 лет появились три литературных произведения, в которых шла речь о создателе памятника: «Сын тысяцкого» И. Новикова, «Иду на вы» Г. Троицкого, «Шумите, ратные знамена» Е. Пермяка.

Работая над повестью «Сын тысяцкого» (М., 1938), И. Новиков одновременно выступил и как ученый («Слово о полку Игореве» и его автор. М., 1938; «Слово о полку Игореве». Перевод, предисловие и пояснения Ивана Новикова. М., 1938). Его гипотеза об авторе «Слова» основывается на следующей фразе из текста памятника: «Комони ржуть за Сулою, звенить слава в Кыеве, трубы трубить в Новеграде, стоять стязи в Путивле». Все упомянутые здесь географические пункты для человека, бывшего в половецкой земле, находились за пограничной Сулой. Летопись называет некоторых сподвижников Игоря, оказавшихся вместе с ним в плену, и среди них — сына тысяцкого. И. Новиков считает, что лишь он мог написать «Слово» и на основании косвенных свидетельств называет его имя — Тимофей Рагуилов. Однако писатель не учел того, что приведенные из памятника слова — всего лишь одна из заповедей Бояна.

В центре повести — передовой человек своего времени, политик-воин и поэт-гражданин. Его исключительность подчеркивается предьсторией, картинами похода, плена, последующих событий. Любовь к природе, устной народной поэзии, языческие представления, первое ощущение классовой розни, бедности и бесправия — от матери, полуязычицы-полухристианки, гордой женщины, оказавшейся на грани нищеты; знание военного дела, охоты — от отца, сурового тысяцкого; различных видов оружия

я боевых доспехов — от слободских ремесленников; другие разнообразные сведения были приобретены во время пребывания в монастыре, на княжеской службе, от людей, с которыми связывала жизнь.

Все это объясняет реалистические пейзажи в «Слове», использование фольклора, наличие двоеверия, профессионально точное изображение быта, осведомленность в княжеских взаимоотношениях, резкое осуждение междоусобиц, призыв к единению.

Словно предвидя вопрос, как можно создать произведение в столь неблагоприятных условиях, И. Новиков подчеркивает, что поэма складывалась и заучивалась на память по частям. Когда же к Игорю (в плену) был вызван из Руси священник, привезший и письменные принадлежности, появилась возможность кое-что записать. Полностью же завершено произведение было в Новгороде-Северском после возвращения из плена. Там, на княжеском пиру, впервые и прозвучало великое «Слово».

Если у И. Новикова проблема автора памятника является главной целью повествования, то у Г. Троицкого и Е. Пермяка она затрагивается косвенно. В повести «Иду на вы» (М., 1939) Г. Троицкого — те же события, что и в «Слове» и летописном рассказе о походе дружины Игоря, но изображаются они шире, путем детализации известных и создания новых эпизодов, введения вымышленных лиц, в частности поэта-воина Василька Славяты — автора Игоровой песни.

Славята — один из сквозных образов повести, несмотря на то что в развитии сюжета ему отведено сравнительно немного места. Сын ловчего черниговского князя Святослава Ольговича, он юность провел в Галиче на службе у Ярослава Осмомысла, затем переехал в Новгород-Северский. Внешний облик этого молодого, чрезвычайно привлекательного человека соответствует его внутреннему содержанию. Он талантлив, любит родину, осуждает обособленные действия князей, стремится к участию в очередном походе на половцев. Песнями откликается на различные события, поднимает воинский дух дружинников, а в трудную минуту, оставив гусли, берется за оружие, служит примером стойкости и мужества. Чтобы поддержать читательский интерес, сюжетная линия Славяты прерывается в своей кульминационной точке (ранение героя на поле боя) и снова возникает только в конце повествования.

Г. Троицкий разделяет мнение тех исследователей, которые утверждают идейную близость автора «Слова» к Игорю, непосредственное участие его в походе, создание поэмы в Новгороде-Северском ко времени возвращения князя из неволи.

Повесть «Иду на вы» оказала влияние на пьесу «Шумите, ратные знамена» (М.—Л., 1941) Е. Пермяка, проявившееся в характере построения сюжета, сходных моментах действия, повторяемости вымышленных персонажей. Вместе с тем пьеса наполнена новым содержанием, новыми идеями.

Очевидно, эта зависимость заставила несколько сузить образ поэта-воина. О создании им «Слова» прямо не говорится, но отдельные детали, намеки свидетельствуют, что Е. Пермяк придерживался точки зрения своего предшественника. То, что герой не назван по имени, подчеркивало его широкую известность, популярность. Можно было не знать, как зовут этого человека, но то, что он великий поэт,— знали все. Несмотря на личную симпатию к Игорю, в его взглядах и суждениях проявляется независимость, выражены думы и чаяния широких народных масс.

В послевоенные годы интерес советских писателей к автору «Слова» усилился еще больше, благодаря неувядающей идейной силе памятника, углубленной научной разработке многих его проблем. Так, в 1961 году вышло из печати «Половецкое поле» В. Камьянского. Подзаголовок произведения — «маленькая повесть по мотивам „Слова о полку Игореве“» не совсем отвечает его характеру. Скорее это не «маленькая повесть», а первая глава большого эпического повествования, изображающая начало похода 1185 года.

Действие происходит у «Столпа Ольговичей», пограничного знака на кургане у реки Ворсклы, незадолго до вступления русской дружины в половецкую степь. На первом плане — друг и соратник Игоря боярин Дмитрий (Митуса) Трубчевский, будущий создатель «Слова». Имя, надо думать, заимствовано у А. К. Югова, утверждавшего, что поэму создал «словутный» певец Митуса, упомянутый Галицко-Волынской летописью (1241 г.). В изображении В. Камьянского Митуса Трубчевский — талантливый, отважный, скромный человек. Он сложил песнь о победе Владимира Мономаха над половцами, перевел с греческого «Александрию», записывал бытовавшие в народе песни Бояна, в одном из походов спас жизнь Игорю. Ему, поборнику единства в борьбе со Степью, не по душе был замысел Игоря; упрекая его в неразумности задуманного предприятия, он вместе с тем гордится храбростью русских воинов, поднявшихся на грозного врага.

Остается только сожалеть, что в произведении, оказавшемся таким коротким, образ Митусы Трубчевского остался не завершенным.

Историческая повесть «Матушка-Русь» (Пермь, 1975) А. Домнина приурочена к 175-летию первого издания «Слова». В ее прологе и эпилоге (в окончательной редакции произведения (1978) они слиты в едином предисловии, а жанр его определен как сказание) выдвинута новая гипотеза об авторе памятника: среди четырех князей, принимавших участие в походе, видную роль играл племянник Игоря Святослав Ольгович Рыльский. Однако, когда князьям воздается хвала, его имя не упоминается. Значит — Святослав сам был автором «Слова»: говорить о себе, а тем более восхвалять себя не разрешала личная скромность.

На основании этого вывода А. Домнин сделал Святослава Ольговича главным героем повести и посмотрел на ход исторических событий его глазами. Получился образ правителя, во многом необычный для своего времени. Прямой потомок могущественного Олега Гориславича, он, в связи с поисками недругов, лишился отцовского наследства. Родичи относились к нему настороженно, как к возможному сопернику в борьбе за власть. Неудовлетворенный, мятущийся, одинокий, Святослав сердцем потянулся к простым людям, видя в них искренность и правдивость. Но князь оставался князем. После неудачного похода у него возникла мысль рассказать о случившемся, чтобы другие не повторяли подобных ошибок. Тогда-то в половецком плену на листы пергамента и легли строки «Слова», огнем прожигающие душу.

В действительности же авторство Святослава весьма сомнительно. Прежде всего этот вывод делается на неверных предпосылках: в «Слове», как считают его исследователи и комментаторы, названы все четыре участника похода, по именам. Приведем комментарий академика Д. С. Лихачева: «...два солнца померкоста, оба багряная стлѣпа погасоста и с нима молодая месяца Олег и Святослав». Святослав — это, конечно, Святослав Ольгович Рыльский» (Комментарий исторический и географический. — В кн.: «Слово о полку Игореве». М.—Л., 1950, с. 402). Академик Б. А. Рыбаков пишет: «Святослав (Борис) Ольгович Рыльский (1166 — умер после 1191 г.), девятнадцатилетний, удельный княжич, «молодой месяц», светивший отраженным светом такого солнца, как Игорь, его дядя по отцу» (Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, с. 90).

Да и трудно представить, чтобы молодой человек обладал такой политической мудростью, жизненным опытом, разносторонними знаниями, чтобы мог стать творцом «Слова».

Незадолго до 800-летия «Слова» значительно активизировалось художественное творчество, посвященное знаменитому памятнику, в частности проблеме его автора. Появились — «В конце века» Ю. Плашевского, «Велесич» В. Шевчука, «Меч-кладенец» И. Кобзева, «Память» В. Чивилихина.

Историческому рассказу «В конце века» (Алма-Ата, 1979) Ю. Плашевского придана форма незаконченной немецкой рукописи XVI века, что само по себе определило его занимательность. К тому же изложение строится на контрасте: чопорные бременские бюргеры, сытые и самодовольные, в ночь перед рождеством слушают рассказы купца Мартина Пфайля о далеких землях и среди них — романтическую историю русского поэта-воина Вадима Славяты, спасенного от расправы женой, красавицей половчанкой Анат (Здесь *Славята* — заимствование из повести «Иду на вы» Г. Троицкого, или непосредственно из «Повести временных лет» (1095 г.) — употребляется не как имя, а скорее как приложение к имени, *Славята* — поющий славу, очевидно, от *слава* в значении величальной песни. Такое прозвище очень подходило прославленному певцу).

Образ Вадима Славяты раскрывается в сцене ссоры с Игорем Святославичем из-за отказа изъять из «Слова» тот текст, где осуждается князь. В противоположность самолюбивому Игорю, Славята — человек правдивый, гордый, независимый. О том, как сложилась его жизнь после побега, неизвестно: «рукопись» обрывается на полуслове.

Своеобразие романа «Велесич» (К., 1980) В. Шевчука — его дуплановость. Молодые люди Макар и Лада (он писатель, она инженер), духовно близкие, втайне влюбленные друг в друга, совершают на машине двенадцатидневное путешествие по местам, связанным со «Словом», что дает возможность тесно переплести настоящее с прошедшим, события наших дней с событиями XII века.

Макар, досконально изучивший «Слово», по-новому трактовал некоторые его «темные места», выдвинул смелую догадку о «земле Троян» — тройственном союзе северян, полян и уличей — государстве предков, частично захваченном степняками; внес существенные коррективы в известную гипотезу о Петре Бориславиче — предполагаемом авторе «Слова».

По убеждению Макара (и В. Шевчука), творцом произведения, проникнутого языческой идеологией, был не киевский боярин, тысяцкий Петр Бориславич, а выходец из народных глубин, еще не испытывший на себе в полной мере влияния христианства. Писатель создал образ такого человека: Велесич — сын простого крестьянина, впоследствии великий певец-гуслиар, отважный воин. Непохожесть па сверстников, «отрешенность» от повседневного быта, несчастная любовь заставили юношу покинуть родительский дом. Но служба при княжеском дворе в Киеве, несмотря на редкий поэтический дар (*Велесич* — имя-характеристика, как бы служитель Велеса, бога-покровителя скотоводов и поэтов), светлый ум, участие в походах не принесли счастья. Велесич ощущал себя чужим в среде, в которой оказался по воле случая, открыто заявлял о своем недовольстве окружающим, не желал воспевать тех, кто этого не заслужил.

В походе Игоря Велесич участия не принимал, а после поражения дружины решил создать произведение в назидание всем русским князьям. Так в Киеве возникла чудо-песня «Слово».

Конец жизни Велесича трагичен. Он стал жертвой религиозного фанатизма митрополита, не простившего воспевания язычества. Петр Бориславич, человек, умудренный жизненным опытом, узнав об угрозе, нависшей над головой поэта, чтобы спасти «Слово», поспешил его записать.

Два последующих произведения — «Меч-кладенец» И. Кобзева и «Память» В. Чивилихина — идентичны в утверждении мысли о том, что автором «Слова» был сам Игорь Святославич, впервые высказанной Н. В. Шарлеманем на заседании комиссии Союза писателей СССР по «Слову» (1952) и повторенной И. Кобзевым в статье «Автор „Слова“ — князь Игорь?» (Литературная Россия, 1978, 22 сент.). Сущность этого предположения в следующем: в авторе произведения сказывается не просто участник похода 1185 года, а человек, очень живо откликавшийся на все его радостные и печальные события. Такая личная заинтересованность дает возможность видеть в нем только князя Игоря.

В сюжете, композиции, характерах поэмы «Меч-кладенец» И. Кобзева ощутимо влияние не только «Слова», но также оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина, ее третьего и четвертого действий, изображающих пребывание в плену и побег Игоря. Мотивируется причина, почему князь, томясь во вражеском стане, обратился к литературному творчеству: чувство вины за содеянное, необходимость оправдаться перед потомками, скорбные думы

о разоренной Руси, любимой Ярославне привели к тому, что сама собой стала складываться страстная, могучая песня — «яростный меч-кладенец», надежное оружие в грядущих боях за родину.

В поэме И. Кобзева (как и в самой гипотезе) не учтено то обстоятельство, что князь, в силу классовых понятий о чести, правах и обязанностях, не стал бы проявлять талант песнетворца, чтобы тем самым не умалить своего достоинства в глазах феодальной знати, привыкшей видеть в поэте прежде всего потешника, скомороха. Поскольку князю не пристало заниматься не княжеским делом, удивляет изображение Игоря на пиру в Киеве. Ему отвели место, предназначенное для гуляров, и он, как обычный певец, исполнил «Слово». Кроме того, психологически необъяснимо, как мог князь-неудачник, проигравший сражение, испытавший позор плена, с большим трудом бежавший, обратиться к высокопоставленным гостям с речью, которую по этикету должен был произнести верховный князь (в ней повторен основной призыв «золотого слова» Святослава), а в «Слове» возвеличивать себя, прославлять свои деяния. Это, скорее всего, вызвало бы осуждение и насмешку.

В романе-эссе «Память» (1984) В. Чивилихин попытался обосновать выдвинутое Н. В. Шарлеманем предположение более обстоятельно, нежели это сделал И. Кобзев. Его доказательства идут в трех направлениях: связь автора «Слова» с Чернигово-Северской землей XII века, принадлежность его к княжеской среде, Игорь Святославич — создатель поэмы. Первое исходит из политических пристрастий автора, избирательности его исторической памяти, топографических и этнографических подробностей, языка «Слова». Второе — из подчеркивания заботы о единении Русской земли, осуждения современных междоусобиц и идеализации прошлого, поразительно точных сведений о жизни и деятельности князей, обращения к ним как к братьям, то есть равным; прекрасного знания животного мира, приобретенного во время «ловов» — главной княжеской забавы, ратного искусства и оружия, частого упоминания золота, серебра, рабов — одной из целей походов, настоящего стремления к славе. Третье — из политической и династической ориентации автора не только в основных событиях, но и мельчайших подробностях похода, сражения, плена, побега Игоря.

Повторяем: нет оснований сомневаться в том, что у Игоря мог быть поэтический талант, но проявить его князь не имел возможности и права.

Многообразие решения проблемы автора «Слова о полку Игореве» в советской художественной литературе дает читателю возможность выбора: либо остановиться на одной из существующих гипотез, приняв предложенную аргументацию как единственно правильную, либо, поскольку истина все же еще не обнаружена, окончательно вопроса не решать, питая надежду, что в дальнейшем под пером упорных исследователей Великий Неизвестный откроет свое лицо.

Каменец-Подольский

Рисунок В. Леонова

Автор «Слова» — подлинный патриот. Он не является сторонником того или иного князя, не был в своих воззрениях ни придворным, ни боярским, ни духовным идеологом. Вот почему до сих пор исследователи задаются вопросом: где было создано «Слово о полку Игореве»? В какой из русских земель — в Киеве ли, в Чернигове, Галиче, Полоцке, в Новгороде-Северском ли? Нет никаких намеков в тексте, какая из земель русских ближе автору. Он просто русский человек. Человек, принадлежащий всей Родине, видящий ее величие и необозримость.

Ю. Черепанов. *Златокованое слово*

Антигриппин, антикомарин...

В. М. ДЕРИБАС,

кандидат филологических наук

Русский язык, заимствуя иноязычные слова, усваивает в ряде случаев и структуру заимствуемых производных слов. Аффиксы (приставки, суффиксы) иноязычного происхождения обычно полностью подчиняются словообразовательным закономерностям русского языка. Так, приставка *анти-* соединяется как с заимствованными, так и с собственно русскими производящими словами: *антивещество*, *антиэлектрон*, *антиракета*, *антифакт*, *антияд*. Она может сочетаться с отдельными суффиксами иноязычного и исконно русского происхождения, представляя собой, как правило, индивидуальные образования (окказионализмы): *антидорожье* (Лит. газета, 1967, 18 янв.), *антиарабизм* (Комс. правда, 1970, 13 мая), *антиермасовец* [от фамилии Ермасов] (Трифонов. Утоление жажды), *антибуримешник* [от буриме] (Лит. газета, 1981, 22 апр.).

В словообразовательной системе русского языка закрепились два такого рода структурных типа приставочно-суффиксальных существительных с элементами *анти-* и *-итель* (*антистаритель* — от *старение*, *антиобледенитель* — от *обледенение*) и *анти-* и *-ин* (*антигриппин* — от *грипп*, *антинакипин* — от *накипь*).

Особой продуктивностью характеризуется модель *анти- ...-ин*. Начиная со второй половины XIX века в русском языке усваиваются такие медицинские термины, как *антипирин*, *антифебрин*, *антиформин* и т. п. К этому же периоду относится образование первых русских слов по данному образцу: *ангимолин* «жидкость для уничтожения моли», *антивеснущицын* «средство против веснушек» и др. Существительные этой структуры обозначают вещества, лечебные средства.

В современном русском языке данный структурный тип слов продолжает расширяться как за счет новых иноязычных заимствований, так и с помощью образования слов по готовому образцу. Прежде всего это греко-латинские научные термины: *антикутин* «противотело в крови у больных туберкулезом» (*кути* «признаки первых стадий туберкулеза легких»), *антитуберкулин*

«вещество в туберкулезных легких» (*туберкул «палочка», туберкулез*) и т. п.

Многие отечественные лечебные препараты получили одновременно параллельное название на латинском и русском языках. Двужычное наименование представляет собой своеобразный тип калькирования, который применяется преимущественно в тех случаях, когда родовое понятие имеет в русском языке собственное наименование. При этом калька входит в определенный словообразовательный ряд и имеет ясное морфологическое строение: *склероз — антисклерозин* «таблетки, употребляемые для лечения артериосклероза», *анемия — антианемин* «препарат, применяемый при лечении некоторых форм анемии, малокровия».

Новые имена существительные могут быть образованы от различных основ: *антинакипин* «средство против образования накипи», *антигриппин* «препарат, применяемый против вирусов гриппа», *антикобрин* и *антигюрзин* «лечебные сыворотки против змеиного яда (кобры и гюрзы)», *антикомарин* «средство против комаров», *антисобакин* «порошок, мешающий собаке взять след» и др. Это специальные научные термины, относящиеся преимущественно к фармацевтике и частично к химии. Заметим, однако, что сфера применения данных терминов постепенно начинает расширяться: они встречаются и в публицистике, и в разговорной речи. Приведем примеры их употребления в художественной литературе: «...он всю жизнь пил воду из тендера, с антинакипином...» (Чивилихин. Про Клаву Иванову); «— Антикомарина побольше делать надо!» (Грибачев. Одним рейсом); «— А зачем они [змеи] вам? — Лекарство делать от укусов, сыворотку. Из яда кобры — антикобрин, из яды гюрзы — антигюрзин» (Анат. Чехов. Кара-Курт); «Нарушители границы подвязали к ногам маленькие пакеты с антисобакином» (Соловьев. Высшая мера).

Выход слов данного словообразовательного типа за пределы терминологического словоупотребления был подготовлен, на наш взгляд, тем, что в течение довольно длительного времени в произведениях разных жанров возникали ocasionальные образования; они создавались от основ самых различных значений. Например: «Он приготавливал порошок от клопов — „антипаразитин“ и продавал его на базаре» (Паустовский. Этикетки для колониальных товаров); «У бедной куколки грипп... Что дать моей кукле? Высыплю сквозь дырку в висок Сухой порошок: Хинин-Аспириин-Антикуклин...» (Черный. Больная кукла); «На днях я случайно узнал, что группа работников фармацевтического института изобрела новый, сильнодействующий препарат — антибюрократин» (Рыклин. Вкусный чай); «— Мне против лжи нель-

зя ли витамин? — Пожалуйста, и вкусен и активен! — А есть для женщин „Антиговорин“? — Есть. Но пока что мало эффективен...» (Асадов. Антенна счастья); «На защите диссертации присутствовали одни мужчины. Соискателем Гребешковым было создано высокоэффективное средство, стимулирующее рост волос, — *анти-мисин*» (Комс. правда, 1968, 16 июня); «Но вот, скажем, страх. Разве это не естественное чувство? И кто знает, куда бы мы зашли, если бы вообще ничего не боялись... Стоит дать ему таблетку какого-нибудь там „антистрашина“, как ему уже море по колено. Надо ли так редактировать природу человека?» (Лит. газета, 1979, 17 янв.); «Займитесь *антиоскорбином*! Дарю вам мою идею. Пользуйтесь, изобретайте» (Лит. газета, 1979, 9 мая); «А фармацевты изобрели даже лекарственное снадобье — *антибранин*...» (Крокодил, 1979, № 26; пример взят из кн.: Новое в русской лексике. Словарные материалы-79. М., 1982); «Впоследствии я назвал это самолечение [доверие к врачам] шутивно — „*антиболезни*“» (Евтушенко. За тех, кто в боли...).

В русском языке имеется небольшая группа слов с аффиксами *противо-* и *-ие*: *противоядие*, *противозвучие* (устар.), *противочувствие*, *противоточие* (калька с нем.) и нек. др. Эта модель, однако, не стала продуктивной. Ср. относительно недавнее индивидуальное образование *противоадье*: «Я знал, я знал, что входят в яд и в ад Противоадье и противоадье!» (Н. Матвеева).

От данного словообразовательного типа слова с *анти-* и *-ин* отличаются как сферой применения, так и четко выраженным терминологизированным значением. Модели с этими аффиксами присущи такие же закономерности, как и другим структурам этого типа: они образуются лишь от имен существительных, к основам которых одновременно присоединяются приставки и суффиксы. Однако эта модель отличается от существительных с конкретным предметным значением. Отличие это состоит, во-первых, в том, что в данном случае используются лишь аффиксы иноязычного происхождения. Во-вторых, ударение в этих словах фиксированное: оно всегда падает на суффикс (*антикомарин*, *антиагрессин*, *антиспазмин*, *антиэмульсин* и т. п.). У подавляющего же большинства приставочно-суффиксальных существительных ударяемым является один из слогов основы (*подсолнечник*, *пододельник*, *наколённый*), реже — приставка (*пáтрубок*, *пóручень*, *сúкровица*). *Анти-* обычно имеет побочное ударение (такое же ударение у существительных с *между-* и *противо-*: *ме́жпóутье*, *прóтивоа́дие*).

Круг существительных с *анти-* и *-ин* как терминологических образований расширяется. Названные аффиксы присоединяются

к основам отвлеченных существительных, в том числе отглагольных и иноязычного происхождения (*накипь, спазма*), а также одушевленных существительных (*моль, комар*). Это явление в целом не свойственно приставочно-суффиксальным существительным с конкретно-предметным значением (*вилы — навильник, плуг — предплужник, груздь — подгруздок*) или обозначающим части тела (*голова — подголовник, плечо — наплечник, рука — поручень*); есть, однако, единичные образования типа *накомарник*. Многие термины рассматриваемого структурного типа (*антигриппин, антикомарин, антинакипин* и т. п.) начинают входить или уже прочно вошли в литературный язык, не нуждаясь в особых пояснениях. Некоторые из них (*антипируин, антифебрин, антифунгин* и др.) находят отражение в толковых и справочных словарях современного русского литературного языка, что несомненно помогает широкому кругу говорящих и пишущих правильно усвоить эти новые специальные слова.

Межпозвоночный или межпозвонковый?

Э. А. СОРОКИНА,

кандидат филологических наук

В Институт русского языка АН СССР обратилась группа ученых-медиков с просьбой помочь им узаконить термин *межпозвонковый* вместо традиционно употребляемого *межпозвоночный*, аргументируя тем, что прилагательное *межпозвонковый* точнее передает значение «находящийся между позвонками».

Прежде чем решить, быть или не быть в языке прилагательному *межпозвонковый*, следует ответить на множество вопросов: существуют ли в языке прилагательные *позвонковый* и *межпозвонковый*? Связаны ли словообразовательно и этимологически *позвонок* и *позвоночник* с прилагательным *позвонковый*? Разрешают ли нормы современного русского литературного языка образование прилагательного *позвонковый* от существительного *позвонок*? (Имеется в виду медицинский термин *позвонок* — «Составная часть позвоночника животного и человека» — 17-томный «Словарь современного русского литературного языка»).

Согласно словарям, в современном русском языке прилагательное *межпозвоночный* имеет только одно значение: «паходящийся между позвонками» (17-томный Словарь).

Межпозвоночный активно используется как в специальной медицинской литературе, так и в научно-популярной: «Между двумя соседними позвонками на боковых поверхностях П.[озвоночника] образуются межпозвоночные отверстия, через к-рые проходят спинно-мозговые нервы и сосуды» (БСЭ).

С точки зрения современного словообразования слово *межпозвоночный* может быть образовано двумя способами: префиксально-суффиксальным от сочетания существительного с предлогом: *меж + позвонков + -н(ый) → межпозвоночный* и префиксальным от прилагательного *позвоночный*, которое, в свою очередь, образовано суффиксальным способом от существительного *позвонок*: *позвонок + -н(ый) → позвоночный*, *позвоночный + меж → межпозвоночный*.

Прилагательного *межпозвоноковый* нет ни в одном словаре современного русского языка, а *позвоноковый* зафиксировано словарями, но не толковыми, а грамматическими (Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка, М., 1977; Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка, М., 1985).

Прилагательное *позвоноковый* может иметь следующие значения: 1) осуществляемый по звонку (-ам), ср.: *пошаговый*, *пооперационный* («производимый по отдельным операциям»), *покадровый* и т. д. 2) относящийся к позвонку¹ (часть скелета животного и человека), 3) относящийся к позвонку² (бубенчику, кслокольчику). Трудно определить, какое прилагательное из трех возможных имели в виду составители словарей.

Словообразовательные нормы современного русского языка не запрещают образование прилагательного *позвоноковый* от существительного *позвонок* (в знач. «часть скелета человека и животного»): *позвонок + -ов(ый) → позвоноковый*. В процессе словообразования участвует чередование гласной с нулем звука. Модель высокопродуктивна, например: *грибок — грибовый*, *поплавок — поплачковый*, *совок — совковый*, *пирожок — пирожковый*, *белок — белковый*, *черенок — черенковый*, *суглинок — суглинковый*, *клинок — клинковый*, *вьюнок — вьюнковый* и т. д.

От прилагательного *позвоноковый* легко образовать префиксальное прилагательное *межпозвоноковый*: *меж + позвоноковый*.

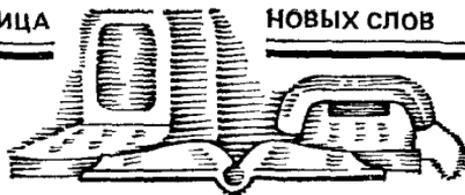
Итак, существование в языке слова *межпозвоноковый* вполне реально и не противоречит нормам современного русского языка. Судя по письму медицинских работников, это слово уже активно

используется в профессиональной речи специалистов. Но редакторы, основываясь на данных толковых словарей, не дают жизни термину *межпозвоноковый*, утверждая, что этого прилагательного нет в языке.

Думается, что ответить на вопрос, жить или не жить в языке прилагательному *межпозвоноковый*, должны прежде всего не филологи, а специалисты-медики, так как для них это не просто слово, а медицинский термин, используемый в определенной языковой среде для названия определенной реалии и не могущий быть замененным синонимом.

Хотелось бы узнать, вероятны ли такие ситуации, когда необходимо использовать сложное прилагательное, образованное от сочетания существительного *позвонок* с числительными, например: три позвонка, два позвонка, пять позвонков и т. д.? Надо думать, что наиболее приемлемым и возможным будет вариант с *-позвоноковый*: *трехпозвоноковый*, *двухпозвоноковый*, *пятипозвоноковый* и т. д., нежели с *-позвоночный*: *трехпозвоночный*, *двухпозвоночный*, *пятипозвоночный* и т. д.

В заключение хочется сказать, что толковые словари и не обязаны включать в свой список специальные слова и термины, не ставшие еще достоянием общелитературного языка. А язык науки призван обслуживать специалистов определенной отрасли знания во всех языковых ситуациях. И думается, что если у специалистов возникла потребность в создании нового термина или в закреплении его в письменной речи, уже употребляемого в устной речи, то с этим фактом редакторам нельзя не считаться.



Фристайл — название нового вида спорта, лыжной акробатики (англ. free style — буквально означает «свободный стиль»). Первые энтузиасты фристайла появились в нашей стране несколько лет назад. А в 1985 году Спорткомитет СССР принял решение о развитии этого вида спорта. При Всесоюзной федерации лыжного спорта создан *технический комитет по фристайлу*.

Газетные публикации рассказывают о фристайле так: «Изящное скольжение на лыжах по волнистому снежному склону, отточенные балетные па, головокружные вращения в воздухе — все это и есть фристайл» (Советский спорт, 1985, 1 дек.); «Акробатика на лыжах — одна из дисциплин нового вида спорта, получившего наименование „фристайл“ („свободный стиль“»)» (Известия, 1985, 5 дек.).

Официально утвержденная программа по фристайлу вклю-

чает в себя три вида соревнований: 1) прохождение бугристых снежных трасс *мбгул*, что на одном из альпийских диалектов означает «бугор»; 2) балет на лыжах (с обязательной и вольной программой); 3) акробатика на лыжах (как высшая школа фристайла) — прыжки с небольших трамплинов с выполнением различных, иногда очень сложных акробатических трюков.

Перифрастические, образные наименования фристайла — *балет на лыжах, танцы на лыжах, акробатика на лыжах, лыжная акробатика, лыжный балет* и т. п. — отражают фактически лишь отдельные «номера» этого комплексного вида спорта. Названия для спортсменов (пока лишь гипотетические, предположительные): *фристайлист* и *фристайлистка*. Прилагательное (также предполагаемое, наиболее вероятное): *фристайлистский, -ая, -ое*.

Л. С.

* * *

Госагропром. Официальное административное создание Государственного агропромышленного комитета СССР ввело в речевое употребление новое сокращенное слово — *Госагропром*: «...Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР признали необходимым образовать союзно-республиканский Государственный агропромышленный комитет СССР (Госагропром СССР) на базе Министерства сельского хозяйства СССР, Министерства плодоовощного хозяйства СССР, Министерства мясной и молочной промышленности СССР, Министерства пищевой промышленности СССР, Министерства сельского строительства СССР и Государственного комитета СССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, соответственно упразднив их» (Правда, 1985, 23 ноября).

Аббревиатура *Госагропром* представляет собой название, созданное традиционным способом, поэтому оно сразу в восприятии носителей языка встало в один словообразовательный ряд с такими привычными наименованиями, как *Госстрой*, *Гостехника*, *Госстрах*, *Госкино*, *Гослесхоз*, *Госводхоз*, *Госместпром*, *Госпрофобр*, *Госснаб* и вод.

По своей внешней форме аббревиатура *Госагропром* подобна обычному слову — имени существительному мужского рода на твердый согласный, поэтому уже в первом официальном сообщении это наименование свободно склоняется как соответствующие имена существительные: «Президент ВАСХНИЛ одновременно возглавляет научно-технический совет Госагропрома СССР», «Госагропрому СССР поручено в месячный срок разработать и внести в ЦК КПСС и Совет Министров СССР: — проект положения о Государственном агропромышленном комитете СССР...», «Принимаемые Госагропромом СССР в пределах его компетенции решения являются обязательными для исполнения всеми министерствами и ведомствами...» (Правда, 1985, 23 ноября).

По сравнению с полным наименованием, состоящим из многослового сочетания (*Государственный агропромышленный комитет*), сокращение *Госагропром* оказалось более удобным, легко произносимым; именно эти особенности обусловили активное употребление нового сокращенного наименования.

Г. И. Миськевич,
кандидат филологических наук

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Объясните, пожалуйста, значение слов, употребляющихся в изобразительном искусстве, — панорама и диорама».

Я. С. Копейкина, Советская Гавань

Панорама (от греческого *pan* — всё + *horama* — вид, зрелище) — это вид изобразительного искусства, в котором наряду с живописью применяются макеты, бутафории, особое освещение, чем достигается впечатление большего пространства и подлинности изображения. Помещается на стене специального круглого здания с верхним светом. Зритель, находящийся внутри здания, получает иллюзию реального пространства по всему кругу горизонта. *Диорама* (от греческого *dia* — через, сквозь + *horama* — вид, зрелище) — это также картина больших размеров с объемным первым планом. В отличие от панорамы охватывает не весь круг горизонта, а лишь его часть.

■
«Что означает слово *буклет*?»

Л. С. Аранова, Днепрпетровск

Буклет (от французского *bouclette* — колечко) — издание, отпечатанное на одном листе, который складывается параллельными сгибами и раскрывается в виде ширмы. Так печатаются краткие путеводители, проспекты.

Мирная жизнь *десанта*

Н. И. ОРЛОВА,
кандидат филологических наук

Слово *десант* заимствовано из французского языка, где оно было образовано от латинского *descendo*, что означает «схожу, спускаюсь». В 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» *десант* фиксируется со следующими значениями: 1) высадка войск с самолетов или с кораблей на территории противника для совершения военных действий; 2) войска, высаженные на территории противника. Оба эти значения были чрезвычайно актуальны в военные годы. Художественная литература и публицистика, воспроизводя события военных лет, широко используют материалы газет того периода. По-видимому, в новом издании «Словаря современного русского литературного языка» военные значения слова *десант* будут расширены и уточнены.

Интересна послевоенная судьба этого слова. Оно обрело новую жизнь: расширилась его предметная соотнесенность, изменился смысловой объем. В лексике, как известно, отражаются социальные и экономические изменения, происходящие в обществе, развитие науки и культуры. Военная лексика не является в этом отношении исключением. События мирной жизни, мирного строительства накладывают на нее свой отпечаток. Вот и слово *десант* стало использоваться в русском языке для обозначения вполне мирных явлений.

Наряду со старым употреблением мы встречаем и такие: *десант* — это «группа лиц, направленная, прибывшая куда-либо, с какой-либо целью (обычно для работы)» и в разговорной речи — «работа, выполняемая такой группой лиц». Так определяет новые значения этого слова Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов «Новые слова и значения» (М., 1984). Обращает на себя внимание существенное отличие современного десанта, предназначенного «обычно для работы». В разговорной речи, в газетно-публицистических статьях, где чаще всего встречается слово *десант*, новое его предназначение подчеркивается определением *трудовой*. «Решено создавать комсомольско-молодежные коллективы на решающих участках производства, чаще

практиковать направление ударных отрядов, трудовых десантов на пусковые объекты» (Правда, 1973, 6 марта); «Во многих уголках страны уже проходят подготовку новые трудовые десанты БАМа» (Аврора, 1975, № 2).

Вид трудовой деятельности десанта может конкретизироваться: *десант — педагогический, овощной, картофельный, грибной; десант лесорубов* и т. п.

Педагогический десант — это обычно группа студентов пединститутов, направляемая в сельские школы для проведения педагогической или культурно-просветительской работы. В Словарных материалах за 1977 год «Новое в русской лексике» зафиксирован следующий отрывок газетного текста: «В августе прошлого года началось формирование „педагогических десантов“ для сельских школ Нечерноземья. В ряде пединститутов страны... были созданы специальные штабы. Они занимались подбором и подготовкой будущих молодых учителей, которые... выедут группами по несколько человек в сельские школы» (Комс. правда, 1977, 6 мая).

Участниками овощных и других трудовых десантов могут быть не только студенческие, но и производственные коллективы, на которые возлагаются особо важные в какой-то данный момент задачи: «[Госпромхоз] направил на затерявшийся в океане остров свой грибной десант. Собрано и замариновано 8,5 тонны грибов» (Сов. Россия, 1975, 30 окт.); «...очередной десант лесорубов высаживается в той части трассы, где работы следует ускорить» (Аврора, 1975, № 2).

Новые значения слова *десант* не затмили старых. В русский литературный язык вошло целое гнездо слов: *авиадесант, авиадесантный, авиадесантник*.

Среди современных новообразований наиболее интересны глаголы *десантировать* и *десантироваться*, которые вобрали в себя смысловое содержание привычных словосочетаний *произвести десант; совершить десант; посадить, выбросить десант*. Впервые они зарегистрированы в Словаре-справочнике по материалам прессы и литературы 60-х годов «Новые слова и значения» (М., 1971). Здесь даны их толкования — «высаживаться (высадить-ся) в качестве воздушного десанта»: «Будем вертолетами десантировать саперов» (Комс. правда, 1967, 18 апр.).

Десантировать(ся) не соотносится с новыми значениями слова *десант*, что обеспечивает глаголу терминологическую точность. Этим, по-видимому, объясняется его упоминание в публицистических и художественных произведениях не только тогда, когда авторы описывают явления, возникшие одновременно с

этим новым словом, но и при изображении событий более ранних, в частности Великой Отечественной войны: «На Западном фронте десантировался целый корпус» (Неделя, 1967, № 19).

Таким образом, мирная жизнь старого военного термина *десант*, обогащение его смысла, расширение сферы употребления одновременно сопровождалось появлением в русском литературном языке однокорневых образований, которые активно пополняют состав военно-технической терминологии [в статье использован иллюстративный материал из словарей-справочников «Новые слова и значения» и словарных материалов «Новое в русской лексике»].

Волгоград

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Какая разница в значении слов *этюд* и *эскиз*?»

В. И. Гангев, Ленинград

Эскиз (от французского *esquisse*, что в свою очередь восходит к латинскому *schedium* — стихотворный экспромт) — художественное произведение вспомогательного характера, подготовительный набросок будущего произведения.

Этюд — от французского *étude*, которое восходит к латинскому *studium* — старание, рвение, — эскиз будущего произведения или его части, выполненный целиком с натуры.

Григорий Андреевич Ильинский

1876—1937

Е. И. КЕДАЙТЕНЕ,
доктор филологических наук

Известный русский языковед и педагог Г. А. Ильинский — один из крупнейших отечественных ученых-славистов. Его научные труды посвящены изданию и исследованию памятников древней письменности, сравнительной грамматике славянских языков, истории славистики. Он занимался также изучением восточнославянских языков, и в их числе — русского. Родился Григорий Андреевич 11 (23) марта 1876 года в Петербурге, в семье учителя семинарии. По окончании гимназии он поступил в Петербургский университет на словесное отделение историко-филологического факультета. Его учителями были С. К. Булич, А. И. Соболевский, В. И. Ламанский. Талантливые ученые, они оказали огромное влияние на развитие способностей своего ученика.

После окончания университета Г. А. Ильинский был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Молодого

ученого интересовало не только славянское языкознание, но и археология, этнография, история, литература и география славянских народов. В статье «Что такое славянская филология?» Г. А. Ильинский определил объем, задачи и значение, метод исследования одной из дисциплин славяноведения. В научной литературе существовали совершенно разноречивые мнения славистов по вопросам объема и содержания данной специальности. «Славянская филология, — писал Г. А. Ильинский, — есть культурно-историческая дисциплина, изучающая духовную деятельность славянства, поскольку она проявляется в слове (...в языке) и его произведениях» (Ученые записки Саратовского университета. Т. I. 1923, вып. 3). Такое понимание этой научной дисциплины развивается и в наше время.

В 1901 году Г. А. Ильинский был командирован на два года в зарубежные страны с



целью научного совершенствования. С большим усердием изучал он славянские языки, а также литовский, греческий, готский, работал в библиотеках, исследуя древние рукописи и знакомясь с научной литературой, ранее ему недоступной, слушал лекции крупнейших лингвистов.

Из-за границы Григорий Андреевич вернулся с готовым курсом по сравнительной грамматике славянских языков и старославянскому (церковнославянскому) языку. В статье «Значение и место науки о древнецерковнославянском языке в ряду других дисциплин славяноведения» он писал: «В ряду довольно разнообразных дисциплин, составляющих область так называемого славяноведения, славистики, в частности славянской филологии, едва ли не самое главное место занимает наука о древне-

церковнославянском языке. Славянская сравнительная грамматика, история славянской литературы и вообще культуры, даже история славянских государств, — все в большей или меньшей степени, прямо или косвенно заинтересованы в своем успешном развитии от прогресса этой науки» (Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. Ч. I. 1906, № 1).

Первые работы Г. А. Ильинского «О некоторых архаизмах и новообразованиях праславянского языка. Морфологические этюды» (1902), «Сложные местоимения и окончания родительного падежа единственного числа мужского и среднего рода неличных местоимений в славянских языках. Этимологические исследования» (1903) и другие создали ему почетную известность. Глубокий интерес к исследованию и объяснению языковых процессов при образовании местоимений отразился в его магистерской диссертации, защищенной в 1905 году в Московском университете.

В 1907 году Г. А. Ильинский переехал в Харьков, где стал доцентом университетской кафедры славистики. С этого времени начинается деятельность ученого в области исследования и издания древних текстов. Г. А. Ильинский подробно изучал историю открытия памятника, каждое издание сопро-

вождал подробными комментариями, составлял к ним словари-индексы. Его работа на тему «Грамоты болгарских царей» явилась докторской диссертацией, которую он защитил в Нежинском историко-филологическом институте. Изданная в виде книги (М., 1911), она была удостоена академической премии имени М. В. Ломоносова.

С 1918 года Г. А. Ильинский работал в разных высших учебных заведениях нашей страны, а с 1927 года — в I МГУ, с которым связан последний период его жизни [более подробно о жизненном и творческом пути ученого можно прочитать в книге В. К. Журавлева «Григорий Андреевич Ильинский», изданной Московским университетом в 1962 году. Здесь приведена также библиография трудов Г. А. Ильинского и литература о нем].

Широкую известность получили труды Г. А. Ильинского по праславянскому языку. «Праславянской грамматике», вышедшей в Нежине в 1916 году, была присуждена академическая премия и золотая медаль. Это научное исследование академик А. А. Шахматов оценил как выдающееся явление в области изучения славянских языков. «Праславянская грамматика» состоит из двух частей: I. Фонетика и II. Морфология. Г. А. Ильинский описал в ней фонетиче-

ский и морфологический строй языка-предка современных славянских языков. В этом труде ученый с исчерпывающей полнотой представил литературу по сравнительной грамматике славянских языков, высказал свое суждение по основным вопросам и критически оценил существующие мнения о праславянском языке, который Г. А. Ильинский впервые определил как отдельную самостоятельную дисциплину. В предисловии к грамматике он писал:

«А если, сверх того, моя „Грамматика“ наглядно покажет, что наука о праславянском языке обладает в настоящее время обширной литературой, что в некоторых пунктах она разработана уже теперь довольно полно и что вообще она уже давно вышла из неленок и потому вполне заслуживает эмансипация от грамматики древнецерковнославянского языка или сравнительной грамматики славянских языков (вместе с которыми она обыкновенно изучается) как совершенно самостоятельная дисциплина в цикле преподаваемых в высшей школе предметов славянской филологии,— то я буду считать свой многолетний труд вознагражденным сторицей».

В большом научном наследии ученого особое место занимают этимологические работы — выявление первоначальной фор-

мы или значения слова, мыслимых как исконные. Прекрасное знание древних памятников письменности, лексики славянских языков и их диалектов, специальной литературы по славяноведению — все это позволило Г. А. Ильинскому внести большой вклад в изучение происхождения слов и выражений. Серия статей, посвященных этой проблеме, опубликована ученым под общим названием «Славянские этимологии». Вызывает интерес история таких слов, как *хобот* «хвост», *чара* «волшебство», *блин*, *дай-ко*, *дай-ка* (повелительное наклонение второго лица ед. числа) и многие другие.

Заслуживает внимания его статья «Река Москва» — о происхождении названия, а следовательно, и имени древней столицы России (Известия Российской АН. VI серия. Т. XVI. 1922). Этот вопрос до сих пор является одним из спорных в ономастике. При изучении наименования *Москва* ученые обычно исходили из современной формы слова, а Г. А. Ильинский обратился к исконной. В Лаврентьевской летописи встречается написание *на Москвь*, в Ипатьевской — *из Москве*, а современное *Москва* звучало как *Москвы*. Таким образом, слово *Москва* образовано от славянского *mosk-*. И ученый ставит перед собой задачу — выяснить первоначальное зна-

чение этого корня и объяснить его происхождение. Путем сравнительно-исторического метода он пришел к выводу, что праславянское *mosk* имело значение «быть вязким, топким». Образованное от него слово *mosky* обозначало «вязкую, топкую, болотистую местность», а р. *Москва* — «река, протекающая в такой местности».

Гипотезу о славянском происхождении названия *Москва* высказывали и другие известные ученые-лингвисты. Например, П. Я. Черных в статье, опубликованной в журнале «Известия АН СССР. ОЛЯ» (1950, № 5), предполагал, что *москы*, возможно, было диалектным словом восточнославянского племени вятичей, пришедшего с юга в бассейн Москвы-реки. Углубляя изучение этимологии этого слова в сопоставительном плане, В. Н. Топоров доказывает общность славянского корня *mosk-* с балтийским *mask-*. Исследуемый материал позволяет считать, что слово, давшее название реке и нашей столице, существовало в период балто-славянского языкового единства, до I тысячелетия н. э. (см.: Балто-славянский сборник. М., 1972). Интересные сведения о разных точках зрения на происхождение слова *Москва* можно найти также в этимологических словарях русского языка М. Фасмера и А. Г. Преображенского,

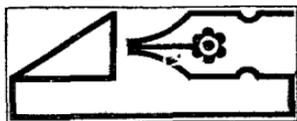
В этимологических исследованиях Г. А. Ильинский использовал оригинальный для того времени прием — анализ слова проводился в сопоставлении с другими словами, близкими по значению, с синонимами. Так, слово *въпнѣти* «звать, кричать» ученый рассматривал на фоне всех слов со значением «кричать». Здесь была заложена Г. А. Ильинским мысль, которая «позже привела к понятию „семантического поля“» (Журавлев В. К. Григорий Андреевич Ильинский, с. 45). Завершающим трудом ученого в области славянской этимологии явился «Этимологический словарь», который «подвел итоги многолетней работы автора не только в области этимологии, но и в области праславянской грамматики, в области исследования языка древних славянских памятников письменности» (там же, с. 38).

Многие работы Г. А. Ильинского посвящены зарождению и истории славянской письменности. В них исследована жизнь и деятельность создателей славянской азбуки Константина (Кирилла) и его брата Мефодия, славянского просветителя — ученика Мефодия — Климента, первого славянского писателя Храбра, написавшего оригинальное сочинение «О письменах», и других. Г. А. Ильинский собрал и систематизировал богатый материал и литературу о происхождении сла-

вянской письменности, которые представлены в его труде «Опыт систематической Кирилло-Мефодиевской библиографии» (1934). Ученый написал большое количество обширных и содержательных рецензий по самым различным вопросам славистики, много статей об известных ученых-славистах — о А. А. Шахматове, И. В. Ягиче, В. А. Богородицком, В. И. Ламанском, П. А. Лаврове и др.

До сих пор не потеряли научной ценности такие работы Г. А. Ильинского, как «К вопросу о финских словах в русском языке», «Как возникло окончание *-ѣ* в родительном падеже единственного числа женского рода в склонении местоимений и прилагательных в великорусском языке» (1927). Интересна статья «*Patronimica* на *-ovo* в русском языке», в которой ученый исследует происхождение фамилий на *-ovo* (Дурново, Сухово, Благово, Хитрово и т. д.) Как полагает Г. А. Ильинский, эти образования представляют собою не что иное, как родительные падежи от соответствующих имен прилагательных: *Дурново* от *дурной*, *Сухово* от *сухой* и т. п.

Научная деятельность Г. А. Ильинского получила высокое признание: он был избран членом-корреспондентом АН СССР, а также Болгарской и Польской академий наук, действительным членом разных научных обществ.



Открывая новую рубрику «Слово молодому лингвисту», журнал предоставляет возможность научной молодежи поделиться с читателями своими наблюдениями в области языка художе-

ственной литературы, культуры речи, истории культуры и письменности и т. п. Надеемся, что творческий поиск молодых исследователей найдет отклик у всех, кто интересуется проблемами русского языка.

Душа

у В. В. МАЯКОВСКОГО

Е. Д. ЗОЛОТАРЕВА

«Кто же решится опять напялить на себя эти кринолины вымирающих бабушек?» — этот вопрос поставил В. Маяковский в статье «Два Чехова», ведя борьбу с «истрепанными», «изношенными» словами-поэтизмами, такими, как *светило*, *венец*, *очи*, *лоно*, *муза*, *любовь* и т. п., ставшими штампами, «красивостями». Маяковский сравнивает традиционно-поэтическую лексику с гардеробом изношенных вещей, требующих обновления.

В начале XX века остро встал вопрос об отношении к поэтической традиции: тематике, лексике, художественным приемам. Если символисты опирались на достижения классического наследия, то творчество футуристов было противопоставлено «заповедям былой, отжитой красоты».

Среди наиболее часто употреблявшихся поэтизмов слово *душа* — высокое, поэтическое, но, по выражению Горького, «ходовое, как пятак». «Была душа поэтами рыта», — писал в 1914 году об этом слове Маяковский в стихотворении «Мысли в призыв», характеризуя его как традиционно-поэтическое. Вот несколько примеров традиционного употребления слова *душа*: «Изронил жемчужную он душу;/Изронил один, из храбра тела,/Сквозь свое златое ожерелье!...» («Слово о полку Игореве» в пер. А. Майкова); «К востоку, все к востоку/Стремление земли —/К востоку, все к востоку/Летит моя душа» (Жуковский); «Когда бы верил я, что некогда душа,/От тленья убежав, уносит мысли

вечны, / И память, и любовь в
пучины бесконечны,— / Клянусь!
давно бы я оставил этот мир»
(Пушкин); «Я зрел во сне, что
будто умер я; / Душа, не слыша
на себе оков / Телесных, рассмот-
реть могла б яснее / Весь мир —
но ей не до того <...> (Лермон-
тов).

Внутренний мир человека —
волнующая, острая тема поэтиче-
ского творчества Маяковского.
«Душа» в большей части его кон-
текстов существует независимо
от человека, лирического героя.
В этом случае он развивает древ-
ний, вечный мотив стремления

души освободиться от плоти, идет от многовековой традиции пред-
ставлять душу, живущей после смерти человека самостоятельно:
«Белые крылья выросли у души, / стон солдат в пальбе доносит-
ся. / „Ты на небо летишь,— / удуши, / удуши его, / победонос-
ца“» (Война и мир).

Основными приемами семантико-стилистического преобразова-
ния слова *душа* в поэтической системе Маяковского являются
персонификация и опредмечивание.

Персонификация — это характерный прием для поэтической
речи, который состоит в наделении неодушевленных предметов
свойствами живых существ, главным образом, человека. Обратим-
ся к стихотворным текстам Маяковского, в которых проведена
аналогия *душа — человек*. Например, в следующем:



Я искал
ее,
невиданную душу,
чтобы в губы-раны
положить ее целящие цветы.
.....

Впрочем,
раз нашел ее —
душу.
Вышла
в голубом капоте,
говорит:
«Садитесь!

Я давно вас ждала.
 Не хотите ли стаканчик чаю?»
Владимир Маяковский, трагедия

Данный фрагмент построен на контрасте двух картин: поэтической и бытовой, контрасте образов, интонаций, стилей. Сопоставим: *искал — нашел; целующие цветы — стаканчик чаю; невиданная душа — душа в голубом капоте*. Приподнято-возвышенный тон повествования первой части сменяется здесь обыденным, разговорным, доводится до сарказма. «Пограничный» союз *впрочем* служит для перехода к другому стилю изложения. Разговорная окраска данного слова — первая ступень к стилистическому снижению, приземлению понятия. Традиционно-поэтический образ «невиданной души» переводится в иной, предметный план, отвлеченная сущность перевоплощается, становится героиней бытового эпизода, «душой в голубом капоте», которая обращается к лирическому герою с предельно земным предложением выпить чаю. По наблюдениям Ю. М. Лотмана (Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий, Л, 1983, с. 10), «подобная деталь», составляющая общее место сентиментальных романов «на старом ладе», отнюдь не служила средством снижения образа героини. Однако уже в романе «Евгений Онегин» на ее основе создаются две стилистически противоположные картины: *лирическая* — «Разлитый Ольгиной рукою,/По чашкам темною струею/Уже душистый чай бежал (...)» и *ироническая* — «Зовут соседа к самовару,/А Дуня разливает чай (...)».

Пушкин добивается иронического эффекта сочетанием разговорного, нелитературного имени Дуня с сентиментальной деталью *разливать чай*. Поздние символисты использовали эту деталь для снижения высокого стиля.

Например, у А. Белого в «Безумце» читаем: «Ах, когда я сижу за столом/и, молясь, замираю/в неземном,/предлагают мне чаю (...)»

Другое направление, в котором идет работа Маяковского над созданием и обновлением поэтического слова-образа с опорой на традицию, — опредмечивание нематериального начала, которое, с одной стороны, может привести к стилистическому снижению поэтизма, а с другой, — не мешает сохранению высокого понятия в слове.

В классической поэзии для передачи значения «внутренний психический мир человека» характерным было тождественное употребление поэтизмов *душа — сердце* (У Пушкина в стихотворении «Война»: «И все умрет со мной: надежды юных дней,/Священный сердца жар, к высокому стремленье (...)» — *сердца жар* —

жар души; у него же в «Элегии»: «Я думал, что любовь погасла навсегда,/Что в сердце злых страстей умолкнул глас мятежный (...)» — *глас в сердце — глас в душе*). Отталкиваясь от традиции, Маяковский использует параллель *душа — сердце* как один из приемов, помогающих провести материализацию высокого понятия. Такие образы, как: «...душу вытащу, (...) и окровавленную дам, как знамя» (Облако в штанах); «душу на блюде несу к обеду идущих лет» (Владимир Маяковский, трагедия) обоснованы рядом контекстов: «Это я/сердце флагом поднял./Небывалое чудо двадцатого века!» (Человек); «буду дразнить об окровавленный сердца лоскут»; «сердце возьму,/слезами окапав,/нести» (Облако в штанах). Поэтизмы *душа — сердце* помещены в сходное словесное окружение.

Особую группу составляют контексты, в которых опредмечивание достигается столкновением высокого поэтизма — неодушевленного существительного — с глаголами конкретного действия, такими, как *прихрамывать, заштопать, нюхать* и т. д.: «А я, прихрамывая душкой,/уйду к моему трону/с дырами звезд по истертым сводам/»; «Милостивые государи!/Заштопайте мне душу,/пустота сочтется не могла бы» (Владимир Маяковский); «И когда мой голос похабно ухает —/от часа к часу,/целые сутки,/может быть, Иисус Христос нюхает/моей души незабудки» (Облако в штанах).

Появлению новых оттенков в значении поэтизма *душа* способствует переосмысление Маяковским языковых штампов, общеязыковых фразеологизмов, традиционных поэтических употреблений. Так, в трагедии «Владимир Маяковский» в отрывке: «Вам ли понять,/почему я,/спокойный,/насмешек грозою/душу на блюде несу/к обеду идущих лет», где *душа* — составная часть, принадлежность лирического героя, которую он «отрывает» от себя и отдает людям — устойчивая языковая формула типа «отдать душу». Возможна также опора на разговорный фразеологизм «преподнести, дать и т. д. что-нибудь на блюде» — подать в готовом виде. Опредмечиванию отвлеченного понятия, заключенного в слове *душа*, способствует и словесное окружение: *блюдо, обед*. Следует особо подчеркнуть, что проведенная поэтом материализация *души*, предполагаемая разговорная основа образа не мешают сохранению высокого стиля, не снижают высокого понятия слова, не «обытовляют» исконно высокий жест «отдать душу, сердце людям».

Одна из характерных черт творчества Маяковского — повторяющиеся образы. Помещенные в сходное словесное окружение, они развиваются в разных направлениях.

Например: «Теперь/у него/душа канатом,/и хоть гвоздь вбей ей —/каждая мышца» (Мысли в призыв).

Или: «Я душу над пропастью натянул канатом,/жонглируя словами закачался над ней» (Флейта-позвоночник).

Поэт сравнивает «душу» с предметами, которые ранее в лирических произведениях не встречались: *канат*, *веревка*. Образ *душа канатом* получает неоднозначное толкование. Вполне вероятно обновление традиционной формулы *струны души*. Можно усмотреть в нем и развитие созданных поэтом образов: «С душой натянутой, как первы провода,/я —/царь ламп!/: (...) наши новые души,/гудящие,/как фонарные дуги» (Владимир Маяковский), в основе которых идея обновления мира.

Традиционно *душу* было принято отдавать на растерзание (у Пушкина в стихотворении «Видение короля», 1834): «Громко мученик господу взмолился: „Прав ты, боже, меня наказуя!/Плоть мою предай на растерзанье,/Лишь помилуй мне душу (...)“» У Маяковского же читаем:

вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя,
Облако в штанах

Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И растопчут там ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.

К ответу

Сходный образ поэт осмысливает и как душу человека, отданную людям, и как душу мира, растоптанную, уничтоженную. Фрагменты строятся на обыгрывании общезыкового фразеологизма *растоптывать*: *душу*, *любовь*, *счастье*, *чувство* (надругаться, оскорбить что-то высокое в человеке, грубо обидеть). Основная роль в построении образа отводится глаголу *растоптать* (топча ногами, ломать, мять, уничтожать что-либо). Однако в первом случае этот глагол не снижает высокого, торжественного пафоса, а во втором — трагического. Маяковский опирается на многозначность глагола. Во фрагменте из «Облака» контекстуально обусловлено значение: сделать ровным, выровнять, придать

определенную форму, форму знамени. В приведенном отрывке из стихотворения «К ответу» *растоптать* — уничтожить: «Во имя чего/сапог/землю растаптывает, скрипящ и груб?»

Итак, попадая в новое словесное окружение, поэтизм обрывает новыми смысловыми и стилистическими элементами. В соответствии с требованиями времени Маяковский создает глубоко индивидуальный образ, нашедший опору в поэтической традиции.

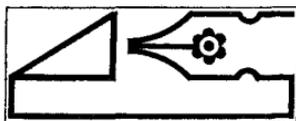
Году в тринадцатом, возвращаясь из Саратова в Москву, я в целях доказательства какой-то вагонной спутнице своей лояльности сказал ей, что я «не мужчина, а облако в штанах». Сказав, я сейчас же сообразил, что это может пригодиться для стиха, а вдруг это разойдется изустно и будет разбазарено зря? Страшно обеспокоенный, я с полчаса допрашивал девушку навоящими вопросами и успокоился, только убедившись, что мои слова уже вылетели у нее из следующего уха.

Через два года «облако в штанах» понадобилось мне для названия целой поэмы.

В. Маяковский, «Как делать стихи?»

Листья — дождем, слезы — ручьем

Н. Д. ДИЗЕНКО



В современном русском языке существует довольно большая группа слов, которые употребляются для переносного обозначения большого количества или неисчислимого множества: *гора книг, море цветов, ручьи слез, дождь листьев, град снарядов, лес рук*. Подобные существительные соединяют в себе два значения — «количество» и «подобие множества кого-, чего-либо тем явлениям, названия которых используются для его обозначения»: *гора книг — большое количество книг, напоминающее гору*.

Как правило, метафорические количественные существительные употребляются в сочетаниях с зависимым родительным падежом или в особых предложениях типа *Цветов — море; Снарядов — град*. Благодаря тому, что сочетания с родительным падежом исторически приспособлены для выражения количественных отношений (*пять столов, несколько человек, много книг*), в них подчеркивается именно этот компонент значения: *море цветов* значит «много цветов». Количественное значение сохраняется и при изменении сочетания: *море (морю, морем, о море) цветов*; оно усиливается в предложениях типа *Цветов — море* (Сколько цветов? — Море).

Вместе с тем в языке активно употребляется еще одна синтаксическая конструкция с подобными существительными, которая часто выступает параллельно названному: *Книги лежат горой; Листья посыпались дождем; Слезы текут ручьем (ручьями)*. То же в эллиптических предложениях, с несущественным для понимания пропуском глагола: *Книги — горой; Слезы — ручьем* и т. п.

Функция творительного падежа в описываемых конструкциях двойственна. Во-первых, будучи употреблен при глаголе (депричастии, причастии), он характеризует действие. Связь такого творительного падежа с глаголом, характеристика глагольного признака и является причиной того, что усиливается значение по-

добия неопределенно большого количества тем явлениям окружающего мира, которые напоминают это множество. *Горами шел по реке лед* значит «Лед шел по реке в виде гор», «Идущий по реке лед напоминал горы», так как его было *много*. Во-вторых, творительный падеж в таких предложениях всегда связан по смыслу с существительным, обозначающим предмет (подлежащим или дополнением), и выражает его количественную характеристику. Возможность преобразований *Слезы — ручьями → Ручьи слез; Лед — горами → Горы льда* подтверждает эту мысль.

Так как творительный падеж по смыслу связан и с предметом, и с действующим, он выражает не только количественную характеристику, но и то, на что похож предмет в момент действия. Это уподобление картины в целом реализуется только в предложении, в то время как количественный признак предмета может быть выражен и в словосочетании: *ручьи слез*.

Совмещение значений подобия и количества иногда находит отражение и в словаре. Так, *дождем* [в знач. нареч.] «Словарь русского языка» в 4-х томах объясняет следующим образом: «обильным потоком, во множестве; подобно дождю» — «Искры, точно фейерверк, вздымались кверху, рассыпались *дождем* и медленно гасли в воздухе» (Арсеньев. Дерсу Узала).

Как видим, в творительном падеже значения количества и подобия соединены настолько тесно, что установить преобладание какого-либо из них, как правило, невозможно. Но, что очень важно, взаимодействие этих двух значений во многих случаях определяет вероятность преобразований сочетаний с родительным падежом в конструкции с творительным приглагольным и наоборот. Такие видоизменения допустимы, если соотношение значений количества и уподобления примерно одинаково: «Кровь лилась из раны *ручьями*» (Лермонтов. Герой нашего времени) — «Из раны лились *ручьи* крови». Если же значение подобия в количественном слове отсутствует или почти отсутствует, форма творительного падежа невозможна: *бездна народу* — невозможно сочетание *народ бездной; океан слез* — нельзя: *слезы океаном; лес рук* — нельзя: *руки лесом* и т. п. Если в творительном падеже значение уподобления преобладает, то сочетания с родительным падежом, подчеркивающие значение количества и в принципе возможные, имеют другой смысл: «...И месяц, и звезды, и тучи *толпой* *Внимали* той песне святой» (Лермонтов. Ангел) — *Толпа туч* *внимала* той песне; «...и дни мои *толпой* Однообразною проходят предо мной» (Лермонтов. «Никто моим словам не внемлет...») — Однообразная *толпа моих дней* *проходит* предо мной (курсив в примерах из художественной литературы мой. — Н. Д.).

Иногда значение уподобления закрепляет формы творительного падежа в устойчивых выражениях: *слезы катятся, льются градом* — в виде крупных, обильных капель. Сочетания типа *льется град слез* нереальны. В таких случаях можно говорить об употреблении существительного в творительном падеже в значении наречия (см. помету «в знач. нареч.» в 4-томном «Словаре русского языка»: *градом, дождем, рекой, горой*).

Как только значение уподобления уходит на второй план, освобождая место количественному, сразу же становится возможным преобразование одной конструкции в другую: «И удары снова *градом* посыпались ему на голову» (Лермонтов. Вадим) — И *град ударов* снова *посыпался* ему на голову (*градом* — «обильно, во множестве»).

Какие же признаки служат основанием для сопоставления большого количества предметов и явлений окружающего мира?

Одним из признаков может быть «стихийность», «хаотичность» движения или состояния множества предметов. Такое состояние передается словами *табун, стадо, стая, рой*, обозначающими группы или большое количество живых существ. Переносное значение этих слов — «большое количество, множество кого-, чего-либо» — формируется на основе общего для них смыслового элемента — «совокупность», «группа» — и возникает за счет нарушения привычной сочетаемости: *табуны мальчишек и девчонок; стада лодок; стаи туч; рой имен, голосов, мыслей, чувств*. Вот примеры: «Воспитанники кадетских корпусов на Дон бежали тогда из России *табунами*» (Гайдар. Школа); «До начала серьезных занятий приезжая молодежь целыми *стадами* бродила по Петербургу» (Короленко. История моего современника); «По воскресеньям все женихи являлись целой *стаей* и ухаживали, говорили любезности...» (Горький. Мужики); «...Язык девических мечтаний В нем думы *роем* возмущил...» (Пушкин. Евгений Онегин).

Стихийное, нестройное перемещение множества предметов передается словом *толпой* (*толпою*): «Чем была замечательна морская осень? Прежде всего обилием рыбы... Кефаль *толпами* слонялась по бухтам» (Паустовский. Черное море). В этом значении слово употребляется и при описании мыслей, чувств: «Новые ощущения, новые стремления, доселе певедомые, новые вопросы *толпою* восставали во мне» (Достоевский. Неточка Незванова).

Метафорическое значение большого количества предметов возникает не только в словах, непосредственно обозначающих совокупность, скопление кого-, чего-либо. В основе его появления чаще всего лежат не конкретные значения слов, привлекаемых для сравнения, и не логические понятия, с которыми они соотносятся, а ощу-

щения, вызываемые этими предметами и явлениями, эмоции, возникающие при виде их или в результате соприкосновения с ними. Так, безмерное пространство чего-либо обозначается словами *озеро, море, океан*: «...через сутки за окнами вагонов в предутреннем морском тумане розовыми *озерами* разольется цветущий миндаль...» (Паустовский. Повесть о жизни); «Туман сплошным *морем* расстился по низу» (Л. Толстой. Война и мир).

Смысловые элементы «движение», «непрерывность», «неиссякаемость» (следовательно — «обильность») заключены в словах *поток, река, ручей*: «Яркий, блестящий, радостный свет лился *потоками* из ее преобразившегося лица» (Л. Толстой. Война и мир); «Княгиня перед ним, одна, Сидит, не убрана, бледна, Письмо какое-то читает И тихо слезы льет *рекой*, Опершись па руку щекой» (Пушкин. Евгений Онегин).

Возможно сочетание признаков «движение», «непрерывность», «неиссякаемость» и «стремительность», «неудержимость» — в словах *водопад, каскад*: «...гости *водопадом* рушатся в столовую» (Федин. Братья); «Там, за железнодорожной насыпью, *каскадами* извивались стаи ракет...» (Бондарев. Выбор).

В основе уподобления атмосферным явлениям могут быть признаки «быстрота», «обилие», которые обнаруживаются в словах *дождь, ливень, град*: «Мы трясли каштаны, листья сыпались на нас трескучим *дождем*» (Паустовский. Повесть о жизни); «Подали чай. Усадили Басистова. Расспросы посыпались на него *градом*» (Тургенев. Рудин). Признаки «сила», «стремительность», «стихийность» движения, содержащиеся в значении слов *вихрь, смерч, ураган, метель, вьюга*, позволяют использовать и эти слова для косвенного описания большого количества: «Искры полетели огненной *метелью*, избы загорелись» (Пушкин. Дубровский) — летящие искры напоминают огненную метель только тогда, когда их много.

В основе появления переносного количественного значения могут лежать также признаки «высота» (*гора, вал*), «высота» и «движение» (*волна*): «...*горами* белеет всякое дерево — шитое, точеное, лаженое и плетеное» (Гоголь. Мертвые души); «*Тысячная толпа* темным *валом* катится к речке...» (Горький. Ералаш); «...тополиный пух прилипал к афишам на заборах, к стеклам газетных киосков, белыми *волнами* окружал каменные тумбы около подворотен...» (Бондарев. Выбор).

Сочетание признаков «высота» и «плотность» в слове *стена* делает возможным употребление этого слова для обозначения множества стоящих рядом предметов: «Около вокзала *стенами* стояла сирень» (Паустовский. Повесть о жизни). В словах *туча*,

облако есть элементы значений «густой», «плотный», «скопившийся». Творительный падеж, как и в других случаях, соединяет количественное значение с признаком подобия массы предметов туче или облаку: «Тихо и сонно все в деревне... одни мухи *тучами* летают и жужжат в духоте» (Гончаров. Обломов); «Одна часть этой песочной пыли месилась ногами и колесами, другая поднималась и стояла *облаком* над войском» (Л. Толстой. Война и мир). А вот пример, в котором словом *туча* подчеркивается выражение большого количества и подобия: [Астров]. «На этом озере жили лебеди, гуси, утки, и, как говорят старики, птицы всякой была сила, видимо-невидимо: послалась она тучей» (Чехов. Дядя Ваня).

Торцовый и торцевой

А. С. ДЕРЯБИНА



В современном русском языке наблюдается колебание ударения в этом прилагательном. Существительное *торéц*, от которого оно образовано, употребляется в таких основных значениях:

1) поперечный срез бревна, бруса, доски; 2) шестигранный брусок поперечно разрезанного бревна для мощения улиц (Словарь русского языка в 4-х томах). Ударения *торцевóй* и *торцóвый* дают 17-томный «Словарь современного русского литературного языка», 4-томный «Словарь русского языка», а также «Орфоэпический словарь русского языка», «Словарь трудностей русского языка» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой.

В русском языке это прилагательное впервые зафиксировал «Общий церковно-славяно-российский словарь» (1834) с ударением на окончании — *торцевóй* (состоящий из торцев): *торцевóя мостовая*. Его употребление в таком значении и сочетании сохраняется, по данным словарей, на протяжении длительного времени. Так, «Настольный словарь для справок по всем отраслям знания» под редакцией Ф. Толля и В. Р. Зотова (1863—1864) приводит сочетание *торцевая мостовая*. «Торц,— поясняет словарь,— кусок дерева, приготовленный для торцевой мостовой».

Ударение в этом прилагательном и развившиеся далее колебания отражают общие закономерности акцентуации в прилагательных, а также вызваны действием такого специфического фактора, как изменение структуры производящего слова. Общий принцип распределения ударения в отыменных прилагательных с суффиксом *-ов-* известен в языкознании под названием «закона Хартмана». Согласно этому закону, прилагательные, образованные от существительных с ударением на корне, сохраняют ударение производящего слова: ед. *рак*, *ра́ка*, множ. *ра́ки* — *ра́ковый*; от существительных с ударением на окончании — суффиксальное ударение: ед. *боб*, *бобá*, множ. *бобы́* — *бобо́вый*; от имен существительных с подвижным ударением — на окончании: ед. *рог*, *рба́*, множ. *рога́*, *роговé* — *рогово́й*. Однако это правило последовательно не выдерживается, чаще всего у прилагательных, производных от заимствованных слов.

Иноязычные слова, широко проникавшие в русский язык в XVIII веке, не имели устойчивой традиции произношения. Это способствовало изменению некоторых сложившихся акцентных закономерностей. В результате стало распространяться ударение на окончании, в частности в прилагательных, образованных от односложных имен существительных. Например, от слова *цирк* образуется прилагательное с ударением не на корне, как должно быть по правилу, а на окончании: *цирково́й*.

К существительным этого типа изначально относилось по своей структуре и слово *торц*. Естественно, что производное от него прилагательное употреблялось с ударением на окончании: *торцево́й*. С течением времени изменяется структура производящего слова. Толковый словарь В. И. Даля отмечает уже формы *торц* и *торец*, причем вторая допускает два ударения: *то́рец* и *торéц*. Расширяется и сфера его употребления. Кроме традиционного значения (*торц* — «шестигранные шашки, которыми на торец выстилают, мостят улицы»), этот словарь отмечает появление еще одного: *торц*, *то́рец* — «отруб, переруб бревна, поперечный отрез». Даны здесь и возможные примеры использования прилагательного, при этом отмечается последовательное сохранение ударения на окончании: *торцевáя мостовая*; *торцевбе́ мощенье*; *торцевбе́ ноги у лошади* (коли берцовая кость соединена с бабкой прямо, без погиба).

Ф. Толль в справочнике «Необходимое дополнительное приложение к настольному словарю...» (1866) приводит сочетания *торцевая мостовая* и *торцовый эпителий*. С традиционным ударением на окончании употребляется прилагательное в первом сочетании — *торцевáя*, во втором появляется новое для этого слова ударение

на суффиксе — *торцовый*, которому соответствует ударение на окончании в существительном: ед. *торéц, торца́*, множ. *торца́* — *торцовый*.

Дальнейшее колебание ударения в прилагательном фиксирует «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, где приведены три варианта: *торцевый, торцовый, торцевой*. К этому времени (40-е годы XX в.) *торец* является единственной формой, так как *торц* утрачивается литературным языком. Однако ударение в существительном продолжает испытывать колебание, что в свою очередь «провоцирует» нарушение устойчивости акцента и в прилагательном: ед. *торéц, торца́*, множ. *торца́* — *торцевый; торéц, торца́*, множ. *торца́* — *торцовый*. При этом сохраняет употребление традиционный вариант *торцевой*.

Колебание ударения в прилагательном, существующее в 40-е годы, можно было объяснить наличием двух ударений в существительном. В 80-е годы, когда вариант *торец* выходит из употребления (Орфоэпический словарь русского языка и 4-томный Словарь русского языка приводят *торéц*), эта причина перестает действовать. Таким образом, происходит утрата литературным языком варианта *торцевый*, так как он не поддерживается соответствующим ударением существительного, и получают распространение формы *торцовый* и *торцевой*.

Вариант *торцовый* стремительно набирает силу и проникает в самые различные сферы употребления. Даже вместо традиционного *торцевая мостовая* мы встречаем *торцовая мостовая*: «По Неве, по мостовой торцовой И по набережной дворцовой Нас, как вихрем, пронесло» (Р. М. Рильке. Ночной выезд. Перевод с немецкого).

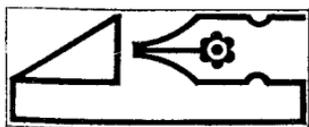
Словари, приводящие оба варианта прилагательных, отражают их широкую взаимозаменяемость, в первую очередь в терминологии и профессиональной речи: «*Торцевые фрезы* обеспечивают при обработке больших открытых плоскостей более высокую производительность процесса, чем цилиндрические фрезы... В целях уменьшения трения *торцевых зубьев* их лезвия расположены под углом...» (В. А. Блюмберг, Е. И. Зазерский. Справочник фрезеровщика. Л., 1984); «*Торцовая сборная фреза* конструкции ВНИИ инструмента, оснащенная многогранными твердосплавными непереключаемыми пластинами, предназначена для получистой и чистой обработки деталей из сталей и чугунов... *Торцовое биение фрезы* не превышает 0,01 мм» (Станки и инструмент, 1985, № 6). Эти примеры иллюстрируют употребление прилагательного в специальном значении «расположенный в торце; производимый со стороны торца или производящий какое-либо действие со стороны торца».

Чтобы объективно оценить варианты *торцѳвѳй* и *торцевѳй*, необходимо учитывать складывающиеся тенденции. Слово *торец* относится к группе существительных с беглой гласной, имеющих ударение на втором слоге основы: *торец* — *торца*, *конец* — *конца*, *конѳр* — *копра*, *кусок* — *куска*. По закону Хартмана, прилагательные, образованные от подобных существительных, должны были бы иметь ударение на суффиксе. Однако в этой группе наблюдается тенденция к перемещению акцента на окончание: *конѳц* — *конѳвѳй* (Словарь 1847 г.), *концевѳй* (В. И. Даль. Толковый словарь); *кусок* — *кусокѳвѳй* (Словарь Академии Российской. 1792), *кусокѳвѳй* (Толковый словарь под ред. Д. Н. Ушакова).

Таким образом, существование вариантов *торцѳвѳй* и *торцевѳй* вполне закономерно, так как отражает определенный этап и направление в развитии акцентуации у прилагательных подобной структуры,

Свитер, джемпер, пуловер — «сыновья» фуфайки

М. И. КАДЕЕВА



И. В. Токарева из Свердловска просит рассказать об употреблении слов *свитер*, *джемпер*, *пуловер*. Она пишет: «Нередко мы наблюдаем смешение названий, обозначающих различные виды одежды... Например: «Если *кофточка* застегивается сверху допизу, то это *жакет* или (в мужском варианте) *пуловер*. Если застѳжка только сверху или ее нет вовсе и воротника тоже нет — то независимо от формы выреза горловины это *джемпер*. *Свитером* называют *джемпер* с высоким неразъемным воротником» (см.: Работница, 1984, № 4)... Расскажите о происхождении и употреблении этих слов».

Свитер, *джемпер*, *пуловер*, заимствованные из английского языка, сравнительно недавно вошли в словарный состав русского

языка — в 20-е годы. Большую роль в распространении мод играло расширение международных связей, международная торговля.

Интересно проследить судьбу слова *свитер*, которое настолько прочно вошло в русский язык, что даже отдаленно не воспринимается нами как некогда иностранное. *Свитер* (англ. sweater < sweat — потеть) — «вязаная фуфайка без застежек с высоким воротником, плотно обтягивающая торс и шею» (17-томный Словарь современного русского литературного языка), надеваемая через голову. Любопытно, что первые *вязаные фуфайки* появились на английских и ирландских островах под названием jersey (джерсэ), означая «вязаный жакет, фуфайка; шерстяное трикотажное белье» (см.: Большой англо-русский словарь). С 1800 года «джерсе» носили в американских колледжах спортсмены-атлеты, которые и переименовали его в sweater — *свитер*.

В русском языке слово *свитер* было отмечено лингвистами около пятидесяти лет назад.

Необходимо отметить, что в современной речи наблюдаются значительные колебания в употреблении слова *свитер*: в формах словоизменения (колебания в вариантах мн. числа): *свитеры, свитеров* и *свитерá, свитерóв*; в произношении: *свитэры (свитеры), свитэрá (свитерá)* и *свитры*. В словаре-справочнике «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» (Л., 1973) с пометой «допустимо» дано употребление варианта *свитерá, свитерóв*, так как этот вариант представляет собой относительное новообразование и широко распространился в современной речевой практике.

«Орфоэпический словарь русского языка» (М., 1983), дающий сведения о произношении, ударении и образовании грамматических форм слов, указывает: «*Свитер, -а*, мн. *свитеры, -ов*, и доп. *свитерá, -ов* [с^вэ^в и св^в; тэ]». Форма *свитерá*, таким образом, представляет собой разговорный вариант, допустимый наряду с традиционной письменной формой *свитеры*. Редуцированный вариант *свитр, свитры* нежелателен.

* * *

Джемпер является тематически близким словом. Легко заметить, что оно обладает нехарактерными для русского языка фонетическими чертами — сочетанием *дж* (*джаз, джигит, джем*); *джемпер*, впервые зафиксированное в Словаре иностранных слов 1933 года, образовано от англ. jumper, имеющего значения «джемпер; матросская рубашка; фланелевая, парусиновая рубашка, куртка; рабочая блуза; сарафан, надеваемый на блузку; комбинезон (детский); малица (Большой англо-русский словарь). В русском языке

ке за словом *джерпер* сначала закрепилось только одно значение «*матросская куртка*», которое отмечает «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (М., 1934) с пометой *новое*. Сейчас так называют вязаную шерстяную или шелковую кофту без застежек, надеваемую через голову и плотно облегающую корпус: «*Джерпер* — верхнее изделие с воротником и без воротника, с разрезом у ворота не до конца стана. *Джерпер* может быть с застежкой и без застежки» (ГОСТ 5358—50).

За время, прошедшее после выхода Толкового словаря Д. Н. Ушакова, слово *джерпер* получило широкое распространение в современном литературном языке и звучит уже как освоенное, привычное. Например: «Илья достал из бумажника фотографию... С карточки смотрела девушка в белом *джерпере*» (Зайцев. Простор); «[Ольга] вошла в комнату, переделалась в будничное платье: серенькая юбочка, голубой *джерпер*, мягкие туфли» (Гладков. Энергия). Трудности в употреблении этого слова связаны с вариантностью формы именительного множественного: *джерперы* и *джерперá*. Например: «Они были почти все высокого роста, блесые..., одетые почти сплошь — в том числе и женщины — в цветные вязанные *джерперы* и лыжные брюки» (Казакевич. Сердце друга); «Известную красочность в повседневную одежду вносят имеющиеся в большом выборе свитера, *джерперá*, жилеты...» (Ряжские моды, 1983, № 1).

Как оценивать эти варианты? Словарь-справочник «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» (Л., 1973) характеризует форму множественного числа *джерперá* как просторечное, то есть его употребление было бы нежелательным, ненормативным. Вариант *джерперы* — традиционная письменная форма, а вариант *джерперá* характерен для «низкого» речевого стиля, находящегося за пределами литературного языка. Тем не менее вариант *джерперá* (как и форма им. мн. *свитерá*) практически представлен очень широко.

* * *

Третье наименование из этой группы слов — *пулвер* (англ. pull — over, от pull — тянуть и over — вокруг) появляется позднее. Первая его фиксация относится к 1939 году, так называлась «трикотажная фуфайка без воротника и без застежек, плотно облегающая корпус» (Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1939), при этом слово помечено как профессиональное (вид специальной мужской одежды, предназначенной для спорта). Долгое время это слово не имело широкого распространения в разговорной речи. С 70-х годов оно расширяет сферу употребления,

переходит в общеразговорный стиль речи. Теперь *пуловер* служит для обозначения мужской, женской и детской верхней одежды.

Безрукавка, выполненная из трикотажа или связанная из пряжи, часто называется *джермпером* или *пуловером*. Ворот *пуловера* чаще круглый или мысообразный, обшивается бейкой или вдвое сложенным ластиком. Например: «Он был в *пуловере* и хорошо отглаженных серых брюках» (Капица. Боксеры); «А на нем были старые фланелевые брюки, которые сели и были ему коротки, парусиновые туфли, рубашка с открытым воротом и штопанный *пуловер*» (Литературная газета, 1983, 31 окт.).

Долгое время встречались ошибки в произношении этого слова, что объясняется непониманием его смысла: *пуловер*, *полувер*, *полвер*, *пулбвер*. Возникали сложности и при определении написания: *пулбвер* или *пуллбвер*? В настоящее время принятое в языке нормативное, правильное написание и произношение — *пулбвер*.

Нетрудно заметить, что *джермпер* и *пуловер* имеют одно и то же лексическое значение. О близости понятий, обозначаемых словами *джермпер* и *пуловер*, и их синонимичности свидетельствуют примеры из швейных словарей и справочников. Так, в «Товарном словаре» (М., 1956) *джермпер* и *пуловер* составитель включил в одну словарную статью: «*Пуловер, джермпер* — вид верхней трикотажной одежды, надеваемой через голову». Параллельное употребление названий *джермпер* и *пуловер* находим и в «Справочнике продавца промышленных товаров» (М., 1982); «*Джермперы* — это изделия без разреза или с разрезом, не доходящим до конца стана (*пуловеры*)». Таким образом, расширяя сферу употребления, переходя в общеразговорный стиль речи, *пуловер* расширило свое значение, став точным синонимом, дублетом слова *джермпер*. Однако *джермпер* и *пуловер* различаются стилистически. Наиболее употребительным из них является *джермпер*, звучащее как свое, привычное, освоенное и уже укоренившееся в языке, тогда как *пуловер* несет в себе стилистический оттенок чуждого, «импортного», оно употребляется реже и нередко с особой стилистической окраской. Сейчас трудно сказать, какое из этих слов займет постоянное место в нашем языке.

Итак, мы рассмотрели тематическую группу наименований одежды *фуфайка* — *свитер* — *джермпер* — *пуловер*. В большинстве случаев можно говорить *фуфайка* о женских и мужских вещах: *свитер* — это *фуфайка* с высоким воротником и длинными рукавами, *джермпер* или *пуловер* — это *фуфайка* с рукавами или без рукавов, надевающаяся через голову.



М. В. Горбаневский ИМЕНА ЗЕМЛИ МОСКОВСКОЙ

Изучением географических названий Москвы и Подмосковья занимаются многие ученые-топонимисты. Первым, кто в послевоенное время обратил внимание на богатство и разноязычность топонимов Московской области, был академик С. Б. Веселовский, который еще в 1945 году опубликовал интересную работу «Топонимика на службе у истории». Затем появились статьи и книги Г. П. Бондарук, Е. М. Поспелова, Г. П. Смолицкой и других исследователей.

И вот перед нами новый труд о географических названиях столичной области — книга М. В. Горбаневского «Имена земли Московской», выпущенная издательством «Московский рабочий» в 1985 году. Автор ограничил свою задачу наименованиями населенных пунктов. В книге две части: «Слова, ставшие названиями» и «Имена в именах». В первой рассматриваются топонимы, повторяющиеся нарицательные слова: *Горки, Мох, Лужки, Остров, Каменка, Озёры, Загорье*. К этой же лексике следует отнести названия, образованные от экономических и других объектов: *мыт* — пошлапа (Мытищи), *ям* — почтовая станция (поселок Ям в Домодедовском районе), *стан* — место стоянки (Теплый Стан), современные — *Электрогорск, Птицеград*.

Отдельная глава в первой части книги посвящена названиям-символам. В большинстве своем это новообразования, отражающие изменения в обществе послеоктябрьской эпохи: *Заветы Ильича, Новый Быт, Красный Путь, Авангард, Дружба, Восход, Заря* и т. д.

Известно, что наименования населенных мест, как правило, восходят к личным именам первопоселенцев, владельцев поместий, деревень, угодий. Нельзя забывать и мемориальные топонимы. Интересно, что до революции в Подмосковье таких названий почти не было. «Единовременные известные названия Дорохово и Тучково, присвоенные в ознаменование 100-летней годовщины со дня Бородинского сражения в честь героев Отечественной войны 1812 года генералов русской армии И. С. Дорохова (1762—1815) и Н. А. Тучкова (1761—1812)» (Поспелов Е. М. Топонимика Московской области. М., 1984). Естественно, что большая часть труда М. В. Горбаневского посвящена анализу именно этой категории антропотопонимов. Примеров здесь много: *Абрамцево, Ховрино, Хотьково, Софрино, Новиково*, а также современные: *Ленино, Загорск, Иогинск, Калининград*.

Автор книги специально останавливается на анализе названий, повторяющих имена рек

и озер. И здесь, конечно, возникает немало сложностей. Если некоторые из них прозрачны: *Талица, Речицы, Каменка, Сушки, Крапивна, Студенец, Вилорна*, то другие (а их большинство) требуют специального изучения, в результате которого можно, с известной долей проблематичности, установить их происхождение. Таковы *Яхрома, Икша, Руза, Яуза, Дрезна, Молдь*.

Чтение книги М. В. Горбаневского позволяет говорить об историзме, проходящем красной нитью через весь рассказ о географических названиях Подмосковья. Они существуют не сами по себе, а отражают время их возникновения и эволюцию. Вот, например, поселок *Софрино*: первоначально его название было *Сафарыньское*,

затем *Сафорино* и наконец *Софрино* (это показал еще С. Б. Велосовский).

В целом книга «Имена земли Московской» описывает исторические, географические реалии, на основе которых народ называл места обитания, создавая тем самым топонимическую лексику столичной области. Издание рассчитано на любознательного читателя, который найдет много интересных фактов из летописи родного края. Автор широко использует литературу (ее перечень дан в конце книги), которая поможет дальнейшему знакомству с топонимикой вообще и топонимией Московской области в частности.

Э. М. МУРЗАЕВ,

доктор географических наук

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Каково происхождение слова *вафли*?»

К. Ж. Гурьева, Гомель

О происхождении этого слова можно узнать из «Краткого этимологического словаря» Н. М. Шанского, В. В. Иванова, Т. В. Шанской: слово *вафля* заимствовано из немецкого языка в XVIII веке. Немецкое слово *Waffel* является суффиксальным производным от *Wabe* — «пчелиные соты». В основу названия *вафли* положено внешнее сходство клетчатой поверхности обозначаемого этим словом сухого печенья с пчелиными сотами.



В. Г. СИРОМАХА,
кандидат филологических наук

Исправление книг (книжная справа) является наиболее древним, специфическим способом нормализации книжно-славянского языка.

История книжного исправления принадлежит к числу малоизученных явлений книжной культуры Древней Руси, хотя необходимость ее исследования не вызывает сомнений. «Изучение всей системы исправления книг в России, начиная с XIV века, даст чрезвычайно важный материал для лингвистов, литературоведов и ... историков книги», — пишет Д. С. Лихачев (сб. Рукописная и печатная книга. М., 1975). Анализ исправлений в лингвистическом отношении весьма существен для изучения языковых процессов, во многом определивших особенности реализации системы книжно-славянского языка в разные периоды его истории.

Книжная справа второй половины XVII века принадлежит к числу значительных и драматических событий русской истории этого времени. Она была предпринята при патриархе Никоне (заявшем патриарший пост в 1652 г.) и продолжена в дальнейшем в том же направлении, так что всю ее, в известной мере условно, можно называть *никоновской*.

Реформам патриарха Никона и связанным с ними событиям посвящена обширная литература, однако лингвистический аспект *никоновской книжной справа* остался в основном вне поля зрения исследователей. Между тем исправления, внесенные в то время в текст печатных книг, касались не только обрядовой стороны, но имели и четко выраженный языковой характер. Это обстоятельство осознавалось как старообрядцами, которые по раз протестовали в своих сочинениях против «искажения» книж-

но-славянского языка в новоисправленных книгах, так и их противниками, никонианами, проявлявшими особую заботу о правильности языка издаваемых ими книг.

Ценным источником лингвистического изучения никоновской книжной sprawy являются *кавычные книги* того времени, то есть корректурные экземпляры старопечатных книг с исправлениями и пометками работников Печатного двора, прежде всего — справщиков. Исправления в них отражают существенное для справщиков противопоставление нормативных и ненормативных (периферийных) языковых форм и позволяет тем самым определить конкретный характер и направление их деятельности. От середины и второй половины XVII века сохранилось немалое число кавычных книг, находящиеся сейчас преимущественно в составах Типографской библиотеки (Центральный государственный архив древних актов) и Синодального собрания (Государственный Исторический музей).

Кавычные книги второй половины XVII века можно условно разделить на две основные группы: к первой отнесем те, первоисточником которых были юго-западные (преимущественно украинские) издания, ко второй — книги, восходящие к предшествующим московским изданиям. Данные группы кавычных книг позволяют определить отношение справщиков Печатного двора к языковым формам как юго-западного варианта книжно-славянского языка, так и московского варианта предшествующего времени.

Следует подчеркнуть, что именно справщикам Печатного двора принадлежала основная роль в практическом осуществлении никоновской книжной sprawy. В их обязанности входила подготовка текста книг к печатанию и соответственно контроль за языковой правильностью книг. «Должность справщиков исправлять книжное правление, дабы в печатании книжном каковых погрешностей не было», — отмечается в одном из архивных документов Приказа книгопечатного дела. Справщики принадлежали к числу наиболее образованных людей своего времени. «Это были люди, в которых выражалось умственное движение Руси в течение всего XVII в.», — писал о них известный историк И. Д. Мансветов. Среди них были такие известные деятели книжной культуры того времени, как Евфимий (Чудовский), Арсений Суханов, Сильвестр Медведев, Карион Истомин, Федор Поликарпов и др.

Исправление книг во второй половине XVII века в значительной мере обострило тогда интерес к филологическим и собственно языковым проблемам, что нашло свое отражение в полемике

ческих сочинениях, созданных в ходе ожесточенной дискуссии между двумя лагерями книжников Московской Руси: старообрядцами и никонианами. Анализ этих сочинений позволяет понять некоторые особенности языкового сознания книжников-никонов, во многом определившие их позиции в этой дискуссии и сказавшиеся на самом характере языковых исправлений.

Книжников-никонов отличал грамматический характер их представлений о книжно-славянском языке, основанных на хорошем знании «Грамматики» М. Смотрицкого, ссылки на которую, как показывают наблюдения, нередки в их сочинениях. Знание «Грамматики», умение применять ее в своей практической деятельности признается книжниками-никонами необходимым условием современного им образования. И, наоборот, незнание ее является для них признаком невежества. Так, Сильвестр Медведев следующим образом характеризует своего оппонента, грекофила Евфимия: «Паче же ведый, яко тетрадой списатель (Евфимий.— В. С.) человек неученый, не точию силлогизмы добре весть, им же не учился, но и грамматики совершенно не разумеет, точию нечто греческих речений памятствует». Не остается в долгу и Евфимий, утверждая, что Медведев «непричастен есть ниже грамматики, ниже пиитики, ниже риторики и не весть глаголати ниже еллински, ниже латински, ниже славенски...». Следует заметить, что оба эти утверждения не более, чем полемическое преувеличение.

Несмотря на то, что книжная справа по решению собора 1654 года должна была вестись на основе древних текстов («достойно и праведно исправити противу старых и греческих» книг — постановил собор), тем не менее в языковом отношении древнерусские тексты заметно утрачивают для никонов свой ореол святости и непогрешимости, которым они окружены в глазах старообрядцев. Книжники-никонове видят в этих текстах немало ошибок и неправильностей, проистекающих, на их взгляд, от недостаточной грамотности писцов и переводчиков.

Показательно, что «невежество» прежних писцов и переводчиков может связываться никоновыми с незнанием теми «Грамматики» «славенского» языка. «Книгописатели же русии, или и преводницы неции бывше не велми известни грамматице славенстей (не бо бе древне изьяснена на славенском языке яко пыне), и о степенях или небрегоша, или недоразумеша, писаша ово правило, аще и не везде, ово же и неправо», — писал в одном из своих сочинений Евфимий.

На «Грамматику» же ссылались справщики во время очных встреч со своими критиками для обоснования проведенных ими

языковых исправлений. «Грамматикою путали»,— писал о них Савватий, участник одной из таких встреч. И именно как «грамматиков» воспринимали справщиков их критики. «А учили так плутати недавно,— писал о справщиках в своей челобитной тот же Савватий,— прежде сего и они так печатали, а свела их с ума несовершенная их грамматика, да приезжие нехаи... Непшуют себе, яко по грамматике, втораго ради лица, за беяши и за бысть удобно глаголати — был еси, и бывал еси, и грамматика в сих не потреба... Ей государь, смутились, и книги портят, яко же и прутся своею глупою грамматикою». Знание «Грамматики» в это время присуще даже таким рядовым работникам Печатного двора, как писцы. Об этом свидетельствует следующий факт. В начале 70-х годов под руководством известного деятеля книжной культуры Епифания Славинецкого была создана комиссия для нового перевода Библии. В эту комиссию вошли некоторые справщики и «книгописцы книг печатного дела» Михаил Родостамов и Флор Герасимов. В сообщении об этом отмечается: «Иеромонах же Епифаний избра в потруждение себе к великому делу сему чтецов греческих и латинских книг, и писцов, добре знающих по грамматике славенстей правописание».

Грамматический подход к языку позволил книжникам-пико-нианам различать вопросы языкового и обрядового характера, в отличие от старообрядцев, воспринимавших их нерасчлененно и видевших в самих языковых формах некий высший смысл. «Не хотят видети,— писал о старообрядцах Епифаний Славинецкий,— яко не вера в догматах своих исправляется..., но токмо речений некая от добрых и праведных переводов». Книжные же справщики были свободны от страха перед собственно языковыми исправлениями в церковных книгах.

Что касается самих языковых исправлений, содержащихся в кавычных книгах предпетровского времени (преимущественно юго-западных по своему происхождению), то они свидетельствуют об определенной русификации книжно-славянского языка под пером московских справщиков второй половины XVII века, отражающей влияние живого русского языка.

В некоторых падежных формах имен существительных исправляется старославянское окончание *a*: «мглу душа» — «мглу души», «поядоша гусеница» — «поядоша гусеницы». В дательном и предложном падежах окончание *и* исправляется на *e*: «к царици» — «к царице», «на колесници» — «на колеснице». В родительном падеже множественного числа окончание *ий* исправляется на *ей*: «зубы зверий» — «зубы зверей»; расширяется употребление окончания *оe*: «избави от враг» — «избави от врагов».

Однако деятельность справщиков не имела однозначного характера, поскольку ряд исправлений в кавычных книгах заключается в восстановлении древних падежных форм. Так, в родительном падеже единственного числа у существительных с древней основой на согласный окончание *-и* исправляется на *-е*: «имени твоего» — «имене твоего», «от чудеса» — «от чудесе», «молитвами своя матере» вместо «матери». В нескольких случаях справщиками восстанавливаются древние звательные формы, например: *за мною иди, Фома* (вм. *Фома*).

Исправления, связанные с категорией одушевленности, свидетельствуют о стремлении справщиков выразить различие между одушевленными и неодушевленными предметами в формах единственного числа и устранить различия в формах множественного числа. Например, в единственном числе: «и родиши сын» — «и родиши сына», «закалая телец упитанный» — «закалая тельца упитанпаго», по во множественном числе: вместо «в рове зверей укроти» — «в рове звери укроти», вместо «рабов освободи» — «рабы освободи».

Можно думать, что московские справщики второй половины XVII века при исправлении падежных форм придерживались норм московской редакции книжно-славянского языка, отраженных и зафиксированных в «Грамматике» 1648 года, весьма авторитетной для книжников-никониан.

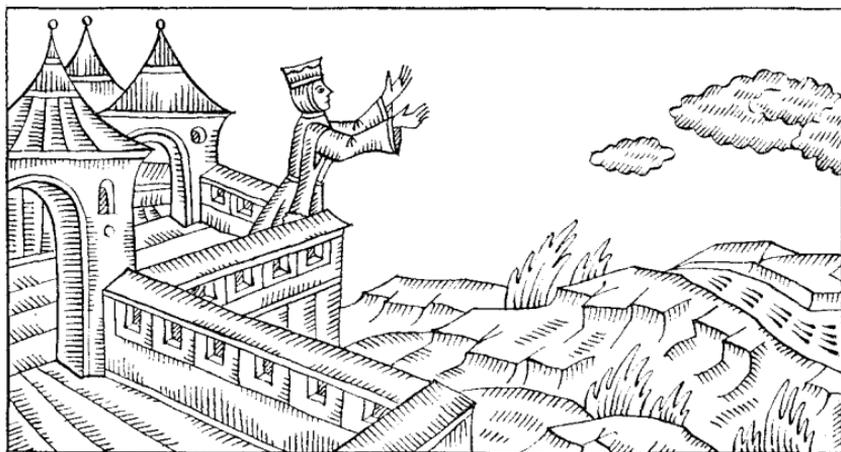
Рисунок В. Леонова

Кто ты, Ярославна?

С. С. ВОИНОВ

Каждого, кто влюблен в поэтический мир «Слова о полку Игореве», не могут не интересовать любые подробности о его многочисленных героях и их судьбах. Тем более что все они — реальные люди, современники неизвестного автора или лица исторические. Подробности эти могут помочь правильно понять текст древнерусской поэмы, глубже проникнуть в таинственный мир наших далеких предков.

Много ли мы знаем, к примеру, о Ярославне, жене князя Игоря Святославича, в образе которой воплотились лучшие черты русской женщины? Еще в одном из примечаний к первому изданию «Слова» 1800 года сообщалось, что Игорь Святославич «женился в 1184 году на княжне Евфросинии, дочери князя Ярослава Володимировича Галичского». С этого момента имя жены Игоря прочно вошло в научный оборот. Между тем в летописях о Ярославне ничего не говорится. В русских летописях вообще редко упоминаются имена женщин. Из «Истории Российской»

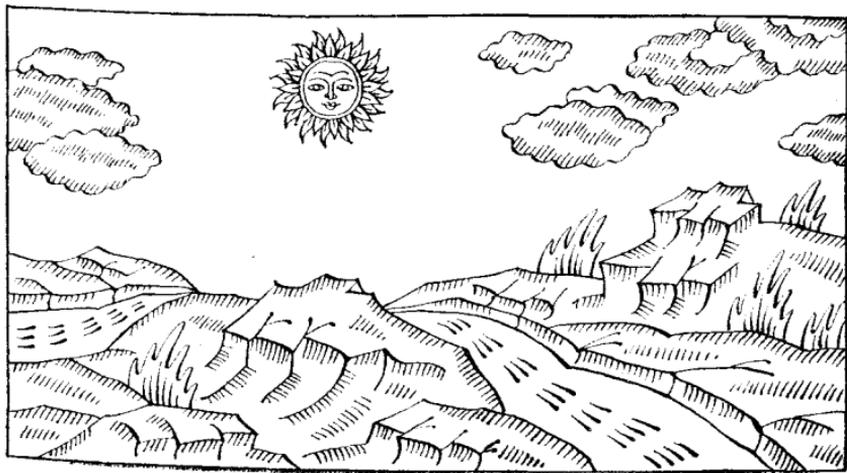


В. Н. Татищева известно, что христианское имя Евфросиния носила мать Ярославны Ольга Юрьевна, дочь князя Юрия Долгорукого.

Откуда же первые издатели «Слова» узнали о Евфросинии Ярославне? Известно, что в любечском «Синодике» (поминальной книге) упоминаются черниговский князь Феодосий и его жена Евфросиния. Но в Чернигове никогда не было князя с таким именем. В то же время в «Синодике» нет упоминания об Игоре Святославиче. Предположение о том, что Феодосий — это монашеское имя Игоря, а рядом с ним названа его жена Евфросиния Ярославна, к которому пришли некоторые исследователи, — всего лишь гипотеза. Позже А. В. Соловьев установил, что при подготовке примечаний к «Слову» его первые издатели пользовались «Родословником князей великих и удельных рода Рюрика», составленным Екатериной II, где упоминается Евфросиния — жена Игоря. Очевидно, при его составлении Екатерина II тоже воспользовалась любечским «Синодиком» и сделала на основании его собственные предположения. Вопрос о том, относится ли имя Евфросиния именно к жене Игоря, до сих пор остается недоказанным.

Давно требует уточнения и возраст Ярославны. Указывая 1184 год как дату женитьбы Игоря с Ярославной, первые издатели «Слова» воспользовались тем же «Родословником», составленным Екатериной II. Она же сделала ошибочный вывод, предположив, что женитьба эта состоялась в том же году, когда брат Ярославны Владимир Галицкий был назван шурином Игоря.

Примечание о Ярославне первых издателей «Слова о полку Игореве» и летописные сведения о том, что Игорь к 1184 году



уже имел пятерых сыновей и одну дочь, создали у комментаторов «Слова» ложное представление о том, что Ярославна была мачехой детям Игоря и второй его женой, причем значительно моложе его. Поэтому многие переводчики и исследователи «Слова» падали ее эпитетами *молодая, юная*.

Между тем возраст Ярославны и год ее замужества можно с достаточной точностью установить по летописным сообщениям.

Если заглянуть в Ипатьевскую летопись, нетрудно обнаружить запись о том, как после ссоры с отцом Ярославом Осмомыслом брат Ярославны Владимир Ярославич Галицкий был тепло принят Игорем. Причем сначала Владимир пытался найти приют у волынского князя Романа Мстиславича, затем у Ингваря Ярославича Дорогобужского, у Святополка Мстиславича Туровского, у Давыда Ростиславича Смоленского и даже у Всеволода Юрьевича, князя Владимирского. Никто из этих пяти князей не решился принять Владимира, опасаясь гнева его отца — могущественного Ярослава Осмомысла. Не побоялся приютить Владимира лишь Игорь Святославич, его зять: «Тои же прия с любовью и положи на нем честь велику и за две лете держа и у себя и на третьи введе и в любовь с отцом его», — сообщает летопись.

Для примирения Владимира Ярославича с отцом Игорь отправил в Галич вместе с шурином своего малолетнего сына Святослава, понимая, очевидно, что только родной внук (сын Ярославны) и мог смягчить сердце грозного деда.

Есть и еще один важный факт, доказывающий, что дети Игоря были родными детьми Ярославны.

В 1187 году умер Ярослав Осмомысл, оставив наследником незаконнорожденного Олега. В Галиче тогда, как пишет летопись, «бысть мятеж велик». Бояре изгнали Олега и передали княжеский престол законному сыну Ярослава Осмомысла — Владимиру, брату Ярославны. После смерти Владимира в 1199 году права на Галицкое княжество получают внуки Ярослава Осмомысла — сыновья его дочерей. Сначала его князем стал Роман Мстиславич Волынский, а после его смерти по приглашению галицких бояр княжеством с 1206 по 1211 годы с перерывами управлял сын Игоря и Ярославны — Владимир. Его братья Святослав и Роман княжили соответственно в Перемышле и Звенигороде. Это доказывает, что сыновья Игоря были родными сыновьями Ярославны, а не ее пасынками — иначе они не имели бы никаких прав на Галич. Следовательно, Ярославна была первой и единственной женой Игоря, что позволяет уточнить и ее возраст.

Известно, что старший сын Игоря и Ярославны — Владимир — родился 8 октября 1170 года. Если предположить, что Ярославна

стала матерью в 13–14 лет, то и в этом случае она родилась бы не позднее 1156–1157 годов. (Напомним, что Игорь родился в 1151 году.) Следовательно, в 1185 году ей могло быть не менее 28–29 лет. Следует иметь в виду, что в средневековые церковными канонами совершеннолетие устанавливалось в 12 лет, и с этого времени церковь разрешала вступление в брак. Княжеские же дочери в Древней Руси выходили замуж очень рано, их браки чаще всего определялись политическими соображениями родителей. Так, в 1187 году состоялась свадьба малолетних Святослава (сын Игоря) и Ярославы (дочь князя Рюрика). Жениху было всего лишь 11 лет.

Трудно поверить, но летопись сообщает подробно о свадьбе пятнадцатилетнего Ростислава Рюриковича и восьмилетней Верхуславы — дочери владимирского князя Всеволода Большое Гнездо. Всеволод щедро одарил приехавших из Киева сватов и «с великою честью отпусти. Еха же по милое своей дочери до трех станов и плакася по ней отец и мати, занеже бе мила има и млада сущи осми лет» (Полное собрание русских летописей, т. II, М., 1962). Разумеется, такие браки до указанного возраста (12 лет) считались фиктивными.

Итак, весной 1185 года новгород-северского князя провожала в поход не восемнадцатилетняя жена. Языческое моление, которое мы привыкли называть «Плачем Ярославны», совершала уже вполне зрелая, имеющая жизненный опыт женщина. В ее молитве слышится не только чувство глубокой любви и патриотизма, но и высокое собственное достоинство, глубокие знания внутренней и внешней жизни Киевской Руси.

Замечательный образ русской женщины — любящей матери, верной и нежной жены, мужественной и стойкой в беде, созданный неизвестным поэтом XII века, вечно будет жить в отечественной литературе и волновать миллионы читателей.

Пермь

Рисунок В. Леонова



Жемчужина русской поэзии «Слово о полку Игореве» волнует сердца читателей вот уже восемь веков. Каждый раз, вчитываясь в бессмертные строки поэмы, открываем для себя что-то новое, пытаемся разгадать ее «темные места».

Едва ли не самым «темным» из них является имя половца, с которым князь Игорь бежал из плена. Это имя в различных источниках приводится по-разному: Овлур, Влур, Лавур, Лавор, Лавер.

Какое из перечисленных имен правильное, и что оно означает?

Овлур, Влур, Лавр

М. М. ЭРКЕНОВ,

кандидат технических наук

Имя Овлур встречается в литературе в нескольких вариантах. В «Слове о полку Игореве»: «*Овлур* свисну за рекою; велить князю разумети»; «Коли Игорь соколом полете, тогда *Влур* влеком потече, труся собой студеную росу».

В Ипатьевской летописи: «В то же время половци напились бяхуть кумыза, а при вечере пришед конюший, поведи князю своему Игореву яко ждет его *Лавор*»; «...бьяшетъ бо съвечал с *Лавром* бежати в Русь».

В науке нет единого мнения о происхождении этого имени. Один из видных исследователей «Слова о полку Игореве» К. Г. Мешгес указывает на возможность связи его с тюркским словом *улу* — «выть» (Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Л., 1973).

В. А. Гордлевский рассматривает *Овлур* как имя греческого происхождения (см.: Известия отделения литературы и языка АН СССР, т. 6, 1947). Д. Д. Мальсагов отмечает, что имя *Овлур* было широко известно среди вейнахов (чеченцев, ингушей и др.) и переводится как «ягненок зимнего окота» (см.: Известия Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и литературы, т. I, вып. 2, Грозный, 1959).

Более того, автор считает Овлура вейнахским воином. Это положение, однако, находится в противоречии со «Словом о пол-

ку Игореве» и другими источниками, которые однозначно указывают на то, что Овлур — половец.

Полагаем, что *Овлур* — половецкое имя, и оно было заимствовано войнами. Это положение подтверждается тем, что половецкие имена были распространены и среди других северокавказских народностей. Например, *Итлар* — имя половецкого хана, противника Владимира Мономаха, встречается у осетин и адыгейцев. Имя *Къза* (в форме *Гожа*) есть у карачаевцев. Среди балкарцев и карачаевцев известно имя *Огъурлу*, которое, как мы полагаем, в русском произношении превратилось в *Овлур*. Подобное явление объясняется, главным образом, отсутствием сонорного *гъ* в русском языке, который в данном случае был заменен звуком *в*.

Огъурлу в тюркских языках кипчакской группы (кумыкском, ногайском, карачаево-балкарском) означает «добрый, счастливый, удачливый». Можно считать, что имя *Огъурлу* (в русском произношении *Овлур*) является первоначальным, незаимствованным половецким именем, близким по своему лексическому значению к хорошо известным именам Добрыня, Феликс (счастливый). Остальные варианты этого имени следует рассматривать как его фонетические производные.

Пенза

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Как правильно говорить — *угля* или *углѣ*?»

Т. Е. Розенталь, Москва

Слово *уголь* имеет несколько значений. Первое — «вещество, топливо». В этом случае родительный падеж единств. числа имеет два акцентологических варианта — *углѣ* и допустимо *ўглѣ*. Во втором значении — «кусок перегоревшего дерева» — слово *уголь* в род. пад. ед. числа имеет ударение только на первом слоге — *ўглѣ*. Множественное число для обоих значений — *ўгли, ўглей*, а для второго допустимо также *углѣй*. (См. «Орфоэпический словарь русского языка». М., 1983).



Народная речь Среднего Приобья

Л. М. РАЙСКАЯ

Обширный низменный край в Среднем Приобье издревле славился суровостью климата и богатством лесов и рек: неслышанным обилием рыбы и зверя, тучными пойменными лугами, знаменитым сибирским кедром. Когда-то историческим центром этих мест был один из старейших в Сибири русских городов — Нарымский острог, основанный землепроходцами. Первыми русскими переселенцами были беднейшие крестьяне из северных малоплодородных губерний России, поэтому местный говор сложился на основе «материнских» севернорусских говоров. В наследство от аборигенов-селькупов (северная народность, живущая в Томской области и Красноярском крае РСФСР) осталось название города: Нарым — «болотный».

«Бог создал Крым, а чёрт — Нарым», — недаром молвилось в народе: нарымский край, тюрьма без решеток и дверей, стал при царизме известным на всю Россию местом политической ссылки.

Современный говор села складывался в своеобразных географических и исторических условиях. Более поздние русские поселенцы приходили из центра и с юга России, под влиянием их говоров утратилось севернорусское «оканье» и «цоканье». Говор обогатился заимствованиями из финно-угорских, тюркских, самодийских языков народностей Сибири.

К. Г. Паустовский призывал «...собирать, как золотоносный песок, по крупницам, образцы русской речи...». Нам необходимо

не только знать, какие слова вносит говор в сокровищницу языка, но и то, как, когда, для чего эти слова употребляются; почему человек «не лезет за словом в карман».

Представим на минуту, что лексический фонд языка действительно напоминает туго набитые всевозможными словами карманы. Как мы в этом случае искали бы пущее слово? Да так же, как человек, пытающийся найти, скажем, ключ и вынужденный сначала выгрести из кармана много других полезных, но совершенно лишних в данный момент вещей. Сколько сил и времени потратили бы мы на то, чтобы произнести даже самую простую фразу!

К счастью, паша лексика организована гораздо удобнее и разумнее: на протяжении всей истории развития языка каждое слово обретало свое место в колоссальном и совершенном хранилище в определенной связи с другими словами, подчиняясь законам человеческого мышления.

Произнесите любое слово, и ваша память сразу же «вызовет» рядом другое. Если, например, вы услышали, произнесли или просто вспомнили слово *большой*, то в зависимости от ситуации можно извлечь из лексического хранилища или синонимы к этому слову — *огромный, гигантский* (сказалась связь, соединяющая слова по сходству значений), или антоним — *маленький*. В последнем случае реализуется связь слова по противоположности значений, одна из самых универсальных, изначально свойственных человеческому мышлению и языку. И это понятно: все в мире состоит из связанных между собой противоположностей, и только в этом единстве можно познавать и объяснять явления и предметы.

Антонимы упорядочивают, систематизируют лексику. Хорошее знание антонимов облегчает изучение любого языка — и родного, и иностранного. Употребление антонимов помогает глубже и нагляднее раскрыть значения слов. Не случайно старожилы Нарыма часто поясняют членам диалектологических экспедиций значение слова, используя антонимы. Один из таких старожил, Григорий Иннокентьевич Перемитин, так объяснял нам слово *бриткий* — хорошо наточенный; острый, как бритва: «Есть бриткий, а есть барахло. Есть такая поговорка: на твоём, грит, ноже можно в Москву уехать. Значит, он тупой».

Иногда использование слов-антонимов заостряет оценку того или иного свойства (ведь все познается в сравнении). Например, хорошо это или плохо, когда человек словоохотлив, разговорчив? Судите сами, если слову *говорун* (*говорунья*) противопоставляется *бусурь* — пелюдимый, неразговорчивый человек. «Боева жеп-

щина Валя Залогина, говорунья, никогда не помолчит, а бывает знашь — ну бусырь идет, не здоровается.

Уже много лет диалектологические экспедиции Томского государственного университета приезжают в Нарым, преодолевая дальний путь зимой по воздуху, а летом — по Оби. Создана большая картотека нарымского говора, есть картотека синонимов и антонимов, много магнитофонных записей и рукописных тетрадей.

Здесь мы познакомимся с интереснейшими людьми. В основном это женщины — прекрасные, добрые труженицы, почти все они уже в преклонном возрасте, пенсионерки, но их бодрости, жизнелюбию, привычке к труду завидуют многие молодые. А какие они собеседницы, рассказчицы! Вера Вячеславовна Гришаева, Лидия Францевна Димова, Платонида Максимовна Костарева, Пелагея Ивановна Костарева, Райса Андреевна Кайдалова, Анна Иннокентьевна Мокина, Эмилия Станиславовна Шумилова — в их народной, хотя отнюдь не архаичной, речи столько житейской мудрости, непосредственности, образности, что, кажется, слова их порой «катятся жемчугом по бархату». Примечательно, что все они охотно и умело, каждая в своем стиле, используют в речи антонимы.

Речь П. М. Костаревой очень поэтична, богата эпитетами: «*Тупые* глаза теперь стали, только в очках могу. У вас-то глаза какие *чистые, яркие*», «...А в городе воздух *сухой, глухой* воздух, *тяжелый*. А здесь вот ... А дождик пройдет, тем более... Воздух *легкий* после дождика всегда, прямо *свежий, черёмзовый*...»

Э. С. Шумилова любит слово острое, веселое и владеет таким словом мастерски. Так и «припечатывает» им очередного леспрохозовского начальника: «*Лялстый, вялый*, не знаю, кто его поставил. Тот хоть ругнет, дак он *энергичный* был, как кипяток горячий» или знакомую-сплетницу: «В глаза *льстит*, а по-за глаза *мстит*».

Изучение лексики показывает, что очень часто антонимы в говоре отличаются от антонимов литературного языка большей свежестью и образностью. Причин тому много, и одна из них — это обилие в говоре мотивированных слов, а ведь, как известно, мотивированное слово вызывает в сознании человека не только представление о собственном значении, но и о значении слова, от которого оно образовано. Например, есть в говоре Нарыма антонимическая пара *моторный* — *валовбй* (в литературном языке ей соответствует *проворный* — *медлительный*), но значение мотивирующего слова *мотор* так явственно просвечивает сквозь зна-

чение «моторный», что мотивированное слово воспринимается нами уже как метафора: «*Моторная, удалая у меня Ипка, вот она. А та вот, котора в Томске, маленько валовая, по тоже хозяйка, чистотка така*». Примечательно, что мотивирующее слово используется в речи вместе с мотивированным, когда их тесную связь живо ощущает говорящий: «*Ветренный такой, сколь получают — все на ветер, а тут хоть и экономна, а где на все денег взять?*»

Нередко в говоре наряду с нейтральным противопоставлением *много-мало* употребляют более экспрессивное *дивно-мало*, ведь очень большое количество способно вызвать и удивление: «*Дивно будет голубицы и черники, клюквы пет, а земляники (т. е. земляники) совсем мало, где-нигде кустик угодит*».

Кроме привычных нам *восход-закат* в этом северном селе можно услышать *солновсход-солносьяд*, и думается, это упоминание солнца необыкновенно точно соответствует какому-то радостному оживлению, царящему здесь в июньские белые ночи: «*Вот весной в двенадцать солнышко садиться начинает, а солновсход тут же. Так и говорят: солносьяд, солновсход*».

Своеобразие антонимов говора заключается и в том, что здесь встречаются противопоставления, которым не так-то просто найти соответствия в литературном языке. Как, например, назвать человека с хорошим аппетитом. А человека, который плохо ест? Пожалуй, мы можем лишь описать эти свойства. А вот в Нарыме их называют: «*Я тоже много не могу есть. Ведь кто как: кто аппетитный, а кто малоежка*». «*Деревецки все аппетитны, а ты малоежка, как птичка клюнешь — и все*».

А вот еще любопытная лексикологическая задача: какому слову литературного языка соответствует значение «вынести положительное решение о выделении чего-либо кому-либо»? Вряд ли мы отыщем слово с таким определением в наших словарях, но в говоре, с его неизменным стремлением к особой, предельной сжатости формы и лаконизму, нашлось такое слово и тут же вошло в антонимическую систему: «*Когда заявление написали, **вырешили** большой ковер. Сейчас на палас записались, не знаю, **вырешат** ли откажут*». Не менее «вместительно» и противопоставление *уютный — неуютный*. В говоре Нарыма эти антонимы встречаются в единственном значении, не имеющем ничего общего с теми, что приводятся в словарях литературного языка, и потому неожиданным для нас. В Нарыме только о новорожденных младенцах или очень маленьких детях до двух-трех лет

можно сказать *уютный* – *неуютный*, то есть «физиологически полноценный, хорошо развивающийся» – «физиологически неполноценный, плохо развивающийся». В этих простых, по таким деликатным словам – и ласка, и извечная материнская жалость к большому малышу.

«У Маруськи нашей... родился ребеночек, да *неуютный* такой, бедный... А это больной он, шейка не держит...

– А какие пужны дети?

– Ну, чтоб *уютный* был, это, паперво, здоровый, спокойный, хорошенький, и смотреть на него не лихо».

«Родился ребенок некрасивый вроде, ну, некрасивый назвать сразу как-то грубо, а *неуютный* вроде можно. Уродом и недоразвитым назвать нельзя, а уж это слово приткнут, не туда оно вроде и не сюда. Ну а *уютный* – это уж все четыре стороны, хороший».

Антонимия способна отразить и характерные особенности сельского образа жизни. В самом деле, для горожанина разлитое по бутылкам и пакетам свежее молоко всегда одинаково на вкус, имеет постоянную жирность, поэтому и нет никакой нужды в каких-то особенных, а тем более противоположных определениях. Совсем иное в деревне, где каждая семья привыкла к молоку своей коровы, а вкус и питательность его зависят, кроме всего прочего, и от того, когда оно надоено. Самое лучшее молоко – незадолго до отела, когда корова уже «на издое», а невкусное – вскоре после отела – отсюда и антонимичность слов *издойное* – *новотельное*: «Щас поплошей молочко, *новотельное*. А помнишь, *издойным* тебя угошала?»

Как известно, антонимы в языке бывают точные, полные и приблизительные, или квазиантонимы. Типичный пример полной антонимичности в говоре Нарыма – *матёрый-маленький*, то есть «значительный по размерам» – «незначительный по размерам». «*Матёры* таки чаны были наделанные и кадочки *маленькие*, в них и солили». В значениях точных антонимов очень много общего, а отличаются они только теми элементами, которые отвечают за антонимичность этих слов. Однако в живой разговорной речи далеко не всегда обязательно употребление точных антонимов, ведь говорящий обычно уверен, что его и так прекрасно поймут. Вот почему в говоре очень много квазиантонимов, значения которых различаются больше, чем значения полных антонимов. Например: *каменеть* – *размякать*, то есть «становиться очень твердым» – «становиться мягким»: «Вымечко *каменет* у ней, так вот берешь

полотенце ли тряпку каку чисту и трешь массаж, вот оно и *размякат*». Разная степень проявления противоположных свойств наблюдается и в таких примерах: «Вот *горячenna* вода кака идет, рука не терпит, это от трубы нагревается, а потом *холодна* така»; «Он *маленький* такой, а она *здоровушша*».

В говоре, как и в литературном языке, основная масса антонимов — слова одной части речи, и все же в Нарыме нередко как антонимы употребляются слова из разных частей речи, обычно прилагательное и существительное, например, *рабочий* — *лодырь*, *лентяй*: «Твой-то как, *рабочий*? Помогает маленько? И Сашка паш тоже все делает, и стират, и воду носит. А попадет *такой лентяй*, как Надьке этой: *пряма лодырь* толстомордый... Она *рабочая* баба, на двух коров одна накосила, разве этот *лодырь*-то поможет».

До сих пор речь шла об антонимах, которые широко употребительны в речи многих жителей села. Казалось бы, говор у всех один и тот же, да и встречаются наши старожилы часто, подолгу беседуют о жизни, о повседневных делах и при этом отлично понимают друг друга, и тем не менее в речи каждого из них есть свои, «заветные» антонимы, и почему-то никто, кроме одного человека, не говорит больше так. Это так называемые «идиолектные» антонимы. Так, в Нарыме только от А. И. Мокиной можно услышать противопоставленные *сидун* — *круткий*: «Это не ребенок, если он нигде не блудит, это *сидун*. Ну, Женька у нас такая *круткая*» (ср.: *крутный*... *скорый*, *спешный*, *торопливый* — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка).

«Индивидуальные» антонимы П. М. Костаревой — *хороший* — *новомодный* (т. е. слишком разборчивый в еде; такой, который «модничает»): «Ишь, *новомодный* какой (внуку), приники не кушат уже. Што смеёсся, конечно, *новомодный*, разве *хороший*!»

В числе антонимов, принадлежащих исключительно В. В. Гришаевой — *охитить* — *напакостить* («навести порядок, чистоту» — «привести в беспорядок, загрязнить» — ср.: *охичать*, *охитить*... *очистить*, *обихаживать*, *обряжать*, *прибирать*, *мыть* и *скрести* избу, лавки, посуду и пр. — В. И. Даль). «Я все *охичу*, а он придет *напакостит*» (о коте).

Есть еще одна черта диалектной антонимии, присущая, очевидно, вообще разговорной речи: антонимические противопоставления здесь часто импровизируются, создаются в ходе беседы только для сиюминутной надобности. Затем эта случайная, мимолетная связь распадается, чтобы уже не возникнуть никогда, по свою задачу эти антонимы уже выполнили: они украсили

своей эмоциональностью и оригинальностью речь, развеселили и потешили собеседников. Например: «Есть, знаешь, длинны, да таки *фигильны*, а этот — ну *толстуший*, дак рука с этот стул», «Ну я все же кака-то *энергичная*, не люблю сидеть, все туда-сюда, а сестра, я смотрю, ну *шмоня* — сидет и сидит».

Наблюдая, как точно, разнообразно и смело используются слова-антонимы в говоре, не устаешь восхищаться огромными творческими возможностями народного языка.

Томск

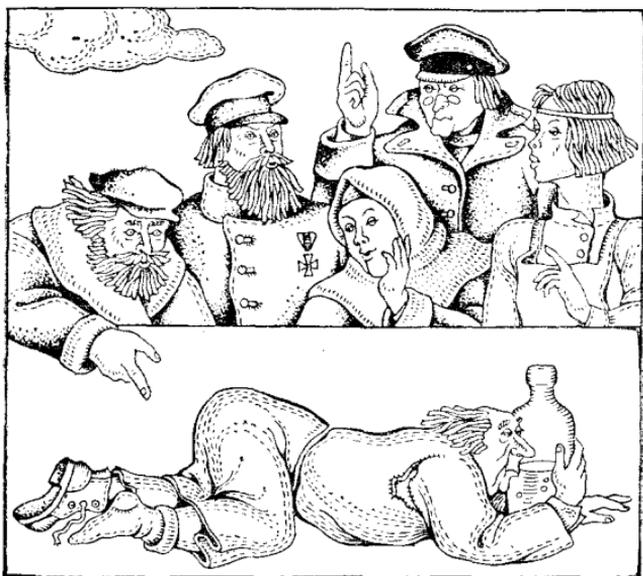
Рисунок В. Мирошник

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Что означает выражение *притча во языцех*?»

А. Н. Ковалев, Новосибирск

Фразеологизм *притча во языцех* (из старославянского языка) означает «предмет всеобщих разговоров, объект постоянных пересудов». По своему лексическому составу этот оборот представляет собой объединение слов *притча* (с исходным значением «рассказ, пословица, поговорка») с предложно-падежной формой *во языцех*, в которой слово *язык* имеет значение «народ». Таким образом, буквально *притча во языцех* — «поговорка в народе», затем — «то, о чем постоянно говорят». Форма *во языцех* <въ языкѣхъ является старой формой предл. пад. мн. числа, с чередованием *к* — *ц* (ср. современную форму *в языках*).



Кто вино любит, тот сам себя губит

В. Н. ВАКУРОВ,
доктор филологических наук

Кроме позора, пьянство ничего не дает. Прямо, категорично говорят об этом поговорки, рожденные коллективным опытом народа: *Пьяница пьет в красу, чтоб опереться на носу; У пьяного рот нараспашку, язык на плече; Четверней поехал* (т. е. на карачках).

Вино губит самое дорогое и невозвратимое, что есть у человека, — его здоровье, его жизнь: *Кто вино любит, тот сам себя губит; Хлеб на ноги ставит, а вино валит; Чем больше пьешь за здоровье, тем скорее выпьешь за упокой*. Пьяница теряет способность здраво мыслить. Медики в этом случае говорят о деградации личности. Русские поговорки и народные афоризмы отмечают это тяжелейшее последствие алкоголизма: *Хмель шумит — ум молчит; Вино с разумом не ладит; Не пей вина — не истеряешь ума; Полно вино пить — лучше ум копить; Пьяница в своей шкуре ходит, да в чужом уме*.

Печальное воздействие спиртных напитков на умственные способности приводит к потере человеческого достоинства, утрате чести и совести: *Запил и честь пропил; С хмелем спознаться — с честью расстаться.*

Былинный персонаж Василий Пьяница не может постоять за честь родной земли: князь Владимир пришел в кабак звать Василия сразиться с Батыгом Батыговичем, который напал с войском на стольный град. А Василий Пьяница отвечает:

У тебя кручина великая,
А у меня горе-печаль еще больше твоей:
Что трещит-то, болит у меня буйная голова,
И дрожит у меня жилы подколенное,
Теперь нечем мне, Василию, опохмелиться...
Опохмель-ка меня чарою похмельною...

Кстати, по народным представлениям, похмелье — грозная беда: *Не жаль молодца битого, жаль похмельного; Клин клином выколотишь, а хмель хмелем не выбьешь; Савелья ломает с похмелья.* Ироническую оценку похмелья содержит поговорка: *Чай, кофей — не по нутру, была бы водка поутру.*

Пьянство — причина многих бедствий: нужды, лишений, разрухи, нищеты: (Пьяница) *Сведет так домок, что не нужен и замок; Сегодня гуляшки, завтра гуляшки — находишься без рубашки; Гулять смолоду — помирать под старость с голоду; Работа денежку копит, хмель денежку топит; С вином поводишься — нагишом находишься; Вино полюбил — семью разорил.*

Первые спутники пьянства — безобразные драки, мерзкое бесстыдство: *Пьем да людей бьем; а кому не мило, того в рыло; Где ни напьется, там и подерется; Первая чарка — задериха, другая — неспустиха; Выпивши пиво, да тества в рыло; поев пироги — тещу в кулаки.*

Не случайно бражкой (от брага) называют пьяную разгульную и вообще дурную компанию. В барнаульских говорах сделана такая запись: «Шляется тут всякая бражка. Вся бражка собралась: по пьяной лавочке еще спалят».

Винопивцы ищут себе оправдание: — Ну и что, если и выпью в выходной день.— На это поговорка возражает: *То не спасенье, что пьян в воскресенье.* Другие отговариваются тем, что пьют с горя. Но и эту попытку пьяниц оправдаться народ давно отверг, создав мудрую поговорку: *С вином старое горе, да новых два: и пьян, и бит.* И давно уже доказано: *Горя вином не зальешь, а радость пропьешь.* Нужно уяснить простую истину: не пьянство с горя, а горе от пьянства. Об этом образно говорит поговорка: *Ездил пировать, а домой приехал горе горевать.*

Наиболее же часто под оправдание пьянства подводится такая «солидная» база: — Ну как не выпить в праздник! — И этому легкомысленному объяснению народ выносит приговор: *Для чашников да бражников бывает много праздников; У него то Саввы, то Варвары; В людях пьет, ба и дома не льет.*

И еще есть оправдание у винопивцев: алкоголь-де позволяет расслабиться, выявить за дружеской беседой свое «я». Народная мудрость опровергает это предвзятое, бездоказательное утверждение: *Во хмелю что хошь намелю; Пьяного речь не беседа, а свиное хрюканье; Того трезвый не ведает, что хмельной говорит.*

Пьяница — храбрец лишь в своем большом воображении. Да и откуда взяться храбрости: смельчак должен быть волевым, убежденным, целеустремленным человеком. Поэтому народные меткие выражения утверждают: *Только и отважки, что ковшик бражки; Пьяному море по колено, а лужа по уши.*

В своем поэтическом творчестве народ осуждает тех, кто пьянствует на работе, тех, кто губит свое мастерство вином. Всем ясно, что труд и хмель несовместимы. Какой работы ждать от пьяной головы да пьяных рук? Народ справедливо утверждает: *Вино ремеслу не товарищ; Винцо не снасть: дела не управит; Знай свое ремесло, да блюда, чтоб хмелем не поросло.*

Пьяница губит себя, и это еще пол-горя. А горе-то в том, что он разрушает семью, мучает самых близких людей — родителей, жену и детей. В одной из народных песен отрицательный герой признает свою вину перед женой:

Я не вор был, не разбойничек,
Жене своей беспокойничек,
Горький пьяница.

Девушку хотят выдать замуж за пьяницу. И не спится ей: в мыслях живо представляется уготованная жизнь с мужем-пропойцей:

Вы раздайтесь, расступитесь, добрые люди,
Что на все ли на четыре на сторонки,
Покуль батюшка-сударь замуж не выдал
За того ли за детину за невежу.
На кабак идет невежа, — скачет-пляшет;
С кабака идет невежа, — всех толкает;
К широку двору подходит, — кричит-вопит...

Известна старинная русская хороводная игра под названием «Жених». Один из эпизодов этой игры такой: девушка говорит парню, что она не хочет идти за него замуж:

Соседушки, голубушки не хвалят тебя,
Ты пьяница, пропойца, пропьешь и меня.

Полюбила девушка молодца, но недолго жила эта любовь: порушил ее милый друг, втянувшийся в пьянство:

Одна ль девушка любить Васю бросила,
Что за то его, за то любить бросила —
Часто пьяного она его видела.

Опасаясь стать женой пьяницы, дочь просит отца выспросить про жениха, узнать, каков он сам собой, что он за работник, какое у него хозяйство и, главное, не пристрастился ли он к вину (заметим, что и современным девушкам нелишне взять этот пример):

И сходи, родной ты мой,
К моему другу названному:
Разузнай-ка все, как есть оно,
Про житье-бытье, домашество,
Он не пьет ли зелена вина?

И если пьет, то девица полюбит его только тогда, когда он распротится с этой вредной привычкой:

Полно, Вавя, вино пить, пора ум-разум копить.
Пора ум-разум копить, станут девушки любить!
Станут девушки любить и молодухи хвалить!

Народ категоричен в своих суждениях о пьянстве: он против потребления вина в любых дозах; ведь *Река с ручейка начинается, а пьянство с рюмочки.*

Рисунок Б. Захарова



И. Г. ДОБРОДОМОВ,
доктор филологических наук

Крупный левый приток Северского Донца река *Оскол* (укр. *Оскіа*) начинается на Среднерусской возвышенности двумя истоками (в урочище Пузачи и к северо-западу от села Погожего), сливаются у села Прилепы протекает через Курскую и Белгородскую области РСФСР и Харьковскую область УССР и впадает в Северский Донец.

С гидронимом (речным названием) *Оскол* связаны такие географические названия: река *Осколѣц*, правый приток Оскола, и железнодорожная станция *Осколѣц* на линии Старый Оскол — Сараевка вблизи этой реки. По течению Оскола расположены районные города *Старый Оскол* и *Новый Оскол*, село *Осколище* (в Волоковском районе) в Белгородской области, а также село *Красный Оскол* (укр. *Червоний Оскіа*, до 1919 года *Царев Борисов*, *Цареборисов*, *Цареборисовка*) и *Краснооскольское* (*Червонооскіальское*) водохранилище в Харьковской области.

Сопоставление русской формы *Оскол* и украинской *Оскіа* указывает, что в древнерусском языке это речное название имело в основном устойчивый облик *Осколь*.

Широко распространились соображения А. Х. Востокова, который указал на необходимость рассматривать речное название *Оскол* в одном ряду с другими названиями с похожим исходом основы (конечной частью) на *к — л*, *г — л*: *Оскол*, *Ворскла* (в старинных летописях *Ворскола*), *Деркул*, *Ингул*, *Телигул*, *Кагул*, *Кагальник*, *Каяла*, возможно, *Калка*. Эти названия он гипотетически связал с хазарами, печенегами и половцами, предполагая у кошечного элемента *к — л* значение «вода» или же «поток, река»

(В[остоков] А. [Х.]. Задача любителям этимологии.— Санкт-Петербургский вестник. СПб., 1812, № 2), однако О. Н. Трубочев в своей книге «Названия рек Правобережной Украины» (М., 1968), выделяя исход на *-л*, справедливо указал на отсутствие структурного единства у наименований с этим исходом.

Нельзя признать удачной чисто кабинетную этимологию названия равнины реки *Оскол*, протекающей в лесостепной полосе, в связи с названиями скал, которых практически нет в Черноземном Центре Европейской России и в прилегающих районах Украины, где протекает Оскол. Такую этимологию от слова *скала* предлагал, например, М. Фасмер, отмечавший тождество гидронима с фактически сомнительным (старо)русским церковнославянским словом *оскол* «скала» и далее привлекавший сюда *осколок*, *скала*, *цель*, не входя в подробности ни словообразовательного, ни семантического порядка (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка). Но ведь даже высокий лесистый правый берег Оскола, сложенный из мела, едва ли может именоваться *скалистым*, еще меньше оснований искать скалы на его левом песчаном или болотистом берегу.

Не могут быть признаны убедительными и соображения А. А. Потевни, который сравнивал гидроним *Оскол* с польским диалектным названием *березового или кленового сока* *oskola*, *oszkola*, а также с литовским глаголом *skal — auti* «полоскать» и древнеиндийским *ksál — ati* (из * *skal* «течет», *ksā — layati* «омывает») (Потевня А. А. Этимологические заметки.— Русский филологический вестник, т. VI, Варшава, 1881, № 4).

Нельзя считать законченными сами по себе весьма остроумные этимологические соображения А. И. Попова, который видел в старом гидрониме *Вороскол* (сейчас *Ворскла*) элемент мордовского происхождения *вор* (отраженный в других топонимах и как *выр*, *вёр*), соотносимый с мордовским существительным *вирь* «лес», поскольку по Ворскле отмечались когда-то довольно многочисленные рощи, особенно дубовые, причем А. И. Попов связывал здесь гидроним *Вороскол* с другим гидронимом *Оскол*: «К Ворскле довольно близко подходит верховьями Оскол — приток Сев. Донца. Названия *Оскол* и *Вороскол* могли составлять такую же пару, как *Ломов* и *Норломов* [в первом слове последнего топонима А. И. Попов видел соответствие мордовскому нар «луг» — И.Д.], *Польный* и *Лесной Воронеж* и т. д. Разумеется, такое предположение требует еще тщательной проверки по другим местным названиям этих областей. То, что Оскол и Ворскла не сливаются, не является, конечно, препятствием к указанному толкованию, так как такие реки иногда бывают разъединенными значительными расстояния-

ми, сходясь только верховьями» (Попов А. И. К вопросу о мордовской топонимике.— Советское финноугроведение, т. II, 1948).

Думается, на правильном пути был Е. С. Отин, который второй компонент гидронима *Оскол* вполне справедливо отождествил с древнетюркскими нарицательными омонимами *qol* «рука; ответвление, рукав» и *qol* «долина, вади (широкая долина, большое русло, котловина и т. д.— И. Д.)» [см. «Древнетюркский словарь», Л., 1969], впрочем, подавшими у Е. С. Отина как единое многозначное слово. Относительно всего гидронима Е. С. Отин осторожно высказался в вопросительной форме: «Не является ли название *Оскол* соединением данного термина с частым в тюркской топонимии пумеративным членом (<*Аз кол* — «Сто речек»; имелась в виду многочисленность его притоков)»? (Отин Е. С. Гідронімі Східної України. Київ-Донецьк, 1977). Толкование первой части — мнимого *Аз* — как «сто» ошибочно. В тюркских языках слово со значением «сто» звучит *йўз* (*юз*), а приведенное Е. С. Отиним *аз* в этих же языках имеет значение «мало», что едва ли подойдет для этимологизации гидронима *Оскол*.

Если в целом этимология, предложенная Е. С. Отиним, и оказалась неприемлемой, то удачное отождествление второй части гидронима *Оскол* с географическим термином и попытка прээтимологизировать название на тюркской почве оказываются плодотворными, требуя, однако, привлечения более обширного материала.

Вторая часть гидронима *Оскол* имеет характер старинного бродячего слова, широко представленного во многих языках Северной Евразии: корейск. *кол* «долина»; маньчжур. *голо* «1) стержень, русло, фарватер (реки); 2) долина; 3) полоса земли между двумя реками; 4) дорога; 5) страна между двух рек; 6) гряда; 7) шов; 8) область»; солонск. *голо* (из монгольск.) «1) стержень, основа; 2) река; 3) сущность, основание»; монгольск. *гол* «1) река, долина реки; 2) середина, центр, стержень, ось, сердцевина»; бурят. *гол* «1) река, долина реки; 2) середина, центр, сердцевина, стержень, ось; 3) стаповая жила (у животных)» (Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков, т. 1, Л., 1975); калмыцк. *хол* «1) река, 2) середина, центр; сердцевина, стержень; графит (у карандаша), фитиль».

В тюркских языках слово представлено уже с древнетюркской эпохи: *qol* «долина; вади» (Древнетюркский словарь). Современные тюркские языки знают географический термин *qol*: гагаузск. *кол* «рука» и «рукав реки»; азербайдж. *гол* «рука» и «рукав реки»; турецк. *kol* «рука» и «рукав, приток реки; пролив» и т. д. Замечательный «Киргизско-русский словарь» К. К. Юдахина (М., 1965)

указывает, что киргизскому языку слово *кол* «русло реки, речная долина» известно только в составе географических названий типа *Каракол*, *Нарынкoл*, *Кенгoл*. Трехтомный «Толковый словарь татарского языка» (т. II. Казань, 1979) дает *кул* «овраг с речкой, ручьем; мокрая балка». «Диалектологический словарь татарского языка» (Казань, 1969) фиксирует это слово у татар Пермской и Свердловской областей: *кул* (также *кулара*) «долина, углубление между холмами, лощина». В тувинском языке представлено *хол* «сухое русло», в хакасском — *хол* «долина; сухое русло реки; лог».

Следовательно, слово *qol* как наименование реки и речной долины широко представлено во всех ветвях алтайской семьи языков (тунгусо-маньчжурские, монгольские, тюркские).

Начальную же часть гидронима *Оскол* можно отождествить с широко известным названием ираноязычного народа алан *ас*, которое в русских источниках отражено как *яс*- (мн. число *ясы*, старинное *яси*, единственное число *ясин*), ибо в русском языке перед пачальным гласным *а*- самоназвания аланов *ас* появился протетический (приставной) согласный *й*-. *йас*- *яс*. Итальянский автор XV века Иосафат Барбаро прямо указывал, что *ас* было самоназванием аланов, «которые на их собственном языке называют *ас*» (Барбаро и Контарини о России. Л., 1971). Хорезмийский автор XI века Бируни, опираясь, вероятно, на более ранние сведения, упоминал «род аланов и асов», живших где-то между Аральским и Каспийским морем» (Бартольд В. В. Сочинения, т. II., ч. I, М., 1963).

* Хотя речное название *Оскол* «Ясская (аланская) река» указывает на былое проживание в бассейне этой реки восточноиранского народа *ясов* (*асов*), следует думать, что название реке дано было не самими ясами-аланами, а их соседями тюрками, поскольку географический термин *gol* «река, долина» связан с тюркскими языками и на иранско-аланской почве не прослеживается.

Следует обратить внимание на то, что в этническом названии *яс(ы)* < *ас* перед гласным на русской почве развился протетический согласный *й* — *йас(ы)*, а в гидрониме *Оскол* этого не произошло. Все объясняется разными фонетическими условиями: в этнониме *ас* гласный был под ударением (и поэтому долгий), он отразился на славянской почве как *а*, перед которым закономерно развился приставной *й*-. В тюркском гидрониме **Аскол* безударный (и поэтому краткий) гласный *а*- восточные славяне восприняли как *о*-, перед которым протетический согласный не развивался. Следовательно, слияние гидронима *Ас+кол* в одно слово произошло еще на тюркской почве.

Следует отметить, что предварительная попытка выделить ряд географических названий с отражением аланского этнонима *ас* как начальной части *Ос-* в некоторых топонимах Украины была уже предпринята раньше, но на другом материале: «На Украине имеется также ряд названий с компонентом *Ос-* (*Осів, Осівка* и *Осівці* — все на Житомирщине; *Осова* — на Волини, Житомирщине, Львовщине, Ровенщине; *Осове* — на Полтавщине, Черниговщине и т. д.), которые могли бы происходить от названия представителей племен *осов* (<*асы*), но этот вопрос требует особого специального изучения. Известно только, что этот корень отразился в названии *Осети* (летописные *Аские*, или *Яские*, «высокие» города). Сюда же относится название *асов*, или балкарцев (*асиаг* — по-осетински «балкарец»; *Аси* — Балкария)» [Стрижак О. С. Про що розповідають географічні назви. Київ, 1967].

Следы пребывания аланов в бассейне Оскола уже отмечались исследователями среди гидронимов в связи с названием левого притока Оскола *Созон*, восходящего, вероятно, к аланскому гидрографическому термину со значением «топь, болото, топкое место» [Муромцев И. В. Словотворчі типи гидронімів (басейн Сіверського Дінця), Київ, 1966].

Видимо, пришедшие в ранее населенные аланами места тюрки назвали реку по обитавшему здесь ираноязычному населению, это название перешло и к восточным славянам. Ирапское название этой реки нам неизвестно.

Рисунок С. Гавриловой



От бака к дредноуту

А. Н. ШУСТОВ

Мы уже давно привыкли к словам *танк* и *танкер*. Пришли они к нам из английского языка.

Слово *tank* к началу XX века имело в английском языке несколько однородных значений: «емкость», «бак», «чан», «резервуар», «цистерна», «баллон», которые объединялись в одно собирательное — «хранилище для жидкостей».

В русскую профессиональную лексику *танк* в значении «бак, цистерна, емкость» вошло в начале 1930-х годов. Им стали называть в основном грузовые отсеки на наливных судах, которые до того именовались *наливными трюмами* или просто — *цистернами*. В наши дни в качестве названия огромных резервуаров, служащих для перевозки и хранения жидкостей, используется интернациональный неологизм — *супертанк*.

Слово *танк* использовалось и в форме *тенк*, близкой к английскому произношению, в качестве второй основы при образовании специальных составных терминов: *септика(е)нк* (бассейн для очистки сточных вод), *азрота(е)нк* (емкость для биологической очистки сточных вод), *метанта(е)нк* (резервуар для обезвреживания осадков сточных вод).

От *tank* в 1920-х годах в английском языке был образован термин *tanker*, означающий «транспортное средство для перевозки

жидких грузов наливом». До этого такие суда назывались *tank steamer, tank ship* — «пароход-цистерна».

Идею перевозить нефть и керосин не в бочках, а наливом в России первым еще в 1863 году высказал Д. И. Менделеев. Эти суда имели специальные цилиндрические трюмы для закачки нефти и именовались просто *наливные пароходы, наливные суда* и собирательно — *наливной флот*. Названия оказались весьма устойчивыми и дошли до наших дней. В то же время, на заре развития такого флота, наливные баржи, служившие для перевозки нефти, получили наименование *нефтянки*, а керосина — *керосинки*.

В советское время началось строительство нового грузового флота. Наливные суда получают устойчивое русское название *нефтевоз* (и как частный вид — *бензиновоз*) по аналогии со словами *лесовоз* и *рудовоз*.

Английское (с обрусевшим произношением) слово *танкер* стало входить в русский язык в конце 1920-х годов. На первых порах оно чаще употреблялось в узкоспециальной литературе, использовалось как синоним русского слова *нефтевоз*, в основном применительно к зарубежным наливным судам. В начале 1930-х годов оно стало проникать в прессу: «Широкое развитие должно получить специальное судостроение, в частности, постройка... рефрижераторов, танкеров, ледоколов и др.» (Известия, 5 июля 1932). В 1936 году *танкерами* были названы новые советские суда, предназначавшиеся для перевозки нефти из Баку в Астрахань: «Подход к проектируемым каспийским танкерам, которые будут целиком сварными..., должен быть другим, чем подход к клепаным судам» (Судостроение, 1936, № 8).

В 1937 году слово *танкер* было зарегистрировано в двуязычном морском словаре, причем не только в англо-русской, но и в русско-английской его части. А в 1938 году вышла в свет повесть Ю. Крымова «Танкер „Дербент“», по которой был снят фильм. Слово *танкер* стало общеизвестным. Оно дало производные: *танкеростроение, супертанкер...* Уже давно наблюдается тенденция соединения этого слова с другими, определяющими специализацию судна: *танкер-лихтер, танкер-газовоз, танкер-рудовоз* и др.

У слова *танк*, помимо «емкостного», есть и еще одно значение. У разных народов в разные периоды истории возникали мысли об использовании в военных целях вооруженных колесниц, прикрытых щитами. Настоящие же военные броненосцы смогли появиться только в начале XX века, когда соответствующие отрасли военной промышленности развитых стран достигли необходимого уровня.

Первая бронированная гусеничная машина была изобретена в России А. Пороховщиковым и прошла успешные испытания в 1915 году. Называлась она *вездеход*.

Русский опыт использовали союзники, английские конструкторы. В проектах их бронированные вездеходы сначала назывались *Land ship*, *Land cruiser* «сухопутный корабль, крейсер». Позже эти «корабли» стали получать имена: «Вилли», «Марк». Опытная модель «Большой Вилли» прошла испытания в 1916 году. По соображениям конспирации отдельные конструкции «Вилли» изготавливались в различных мастерских. Английские рабочие полагали, что они делают детали для бензиновых емкостей, то есть *танков*. Название *танк* способствовало целям конспирации, из рабочей среды оно попало в язык конструкторов и с опытной машины было перенесено на серийные экземпляры. «Британская энциклопедия» считает официальным «автором» термина *танк* изобретателя «Вилли» Э. Свинтона. Впервые танки были применены английскими войсками в сентябре 1916 года во время 1-й мировой войны.

Корреспонденты русских газет сообщили своим читателям о новой технике союзников: «...блиндированные (бронированные. — А. Ш.) автомобили производили атаки против сильных германских укреплений» (Биржевые ведомости, 5 сент. 1916); «Англичане изобрели грандиозный бронированный автомобиль. Он уже появился на западном фронте, где производит сокрушающие действия (Петроградская газета, 14 сент. 1916).

В последующих сообщениях для блиндированных автомобилей стали подбираться синонимы: *сухопутные дредноуты*, *сухопутный флот*, *движущиеся башни*, *ползущие чудовища*. Авторы стремились сделать описания необычных машин образными. По их мнению, они были «удивительно похожими на живые существа — нечто среднее между бегемотом, химерой и драконом»; это — «гигантские мамонты», «боевые слоны» и т. п. (Новое время, 25 сент. 1916).

Впервые слово *танк* появилось на страницах русских газет на английском языке с неуклюжим переводом: «В вечернем заседании Ллойд-Джордж заявил, что так называемые «Лохани» (tanks), т. е. новые блиндированные автомобили, принесли громадную пользу в последних боях» (Биржевые ведомости, 2 окт. 1916).

В русский язык слово *танк* было, видимо, введено И. Эренбургом. Будучи военным корреспондентом, он писал из Парижа о выставке военных фотографий, на которой англичане представили свою новую технику: «Точно чудовища движутся, ничего не страшась, новые английские „подвижные форты“». И далее: «Увеличение производства снарядов, усовершенствование аэропланов,

„танки“ — все это говорит об единой воле, о небывалом напряжении» (Биржевые ведомости, 14 ноября 1916).

Эренбург свободно владел французским. Отсюда французское произношение слова *танк* в его корреспонденциях из Парижа (по типу известных слов *банк*, *бланк*). В английском же языке-источнике это слово произносится иначе: *тэнк*. Такое произношение слова с открытым *э* чуждо фонетике русского языка. Тем не менее и англазированная форма попала в русскую прессу. Корреспондент из Лондона писал о новых машинах, что это чудовища, «официально именуемые „тэнксами“» (Речь, 5 окт. 1916).

После Великой Октябрьской социалистической революции интервенты обрушили на молодую республику всю свою боевую мощь, в том числе танки. Советская фронтная газета «Боевая правда» 2 ноября 1919 года поместила передовицу под заглавием «Танки!». В ней, в частности, говорилось: «Каждый боевой солдат должен разъяснить своему малообстрелянному товарищу, что такое танк, какое у него устройство, какие средства борьбы против танков. Надо положить конец страху перед танком».

В 1919 году в рядах Красной Армии воевало несколько трофейных танков. Первый советский танк был построен в 1920 году. Назвали его «Борец за свободу товарищ Ленин» (Антонов А. С. и др. Танкер, М., 1954).

Ленинград

Рисунок С. Газриловой



И. Э. ЛАЛАЯНЦ,
кандидат биологических наук

Ходившие вдоль западного побережья Африки в XV веке португальские мореплаватели много слышали от местного населения о целительном и освежающем действии семян дерева «гоора». Так жители берега Гвинейского залива называли дерево, получившее впоследствии научное название *Стеркус*, что означает «разделенный, разрезанный». Этот научный термин точно передает строение плода дерева, представляющего собой небольшую коробочку, разделенную перегородками, между которыми лежат семена.

Семена эти и поныне очень ценятся жителями атлантического побережья тропической Африки. По своим целебным свойствам они сходны с действием коры знаменитого перуанского хинного дерева, защищая людей от малярии.

В Европе также очень высоко ценили семена гоора. Одно из косвенных упоминаний содержится в книге «Сьерра Леоне», выпущенной в Лондоне в 1795 году. Там отмечается, что негры очень любят знаменитый плод гоора, сравнивая его свойства с «перуанской корой».

В конце XVII века деревья гоора были завезены португальцами в Бразилию, где постепенно под влиянием местного произношения название дерева изменилось в *колу*. Под наименованием *орехи кола* семена со временем стали известны и в Северной Америке, где в 1886 году они были использованы при приготовлении сиропа для нового вида содовой, или, по-нашему, «газировки», а именно кока-колы, которая стала впоследствии известна по всему миру.

Как отмечается в энциклопедии «Американа», впервые сироп был сварен аптекарем Джоном Пембертоном из Атланты. Кроме орехов кола, он бросил в медный чан лимонные дольки, циннамон, гвоздику и корицу, для верности добавил несколько ложек эфирных масел и еще кое-что. Впрочем, надо сказать, что секрет состава до сих пор держится в глубочайшей тайне.

В качестве одного из компонентов в состав сиропа входят также листья южноамериканского кустарника коки, печально прославившегося возможностью получения из него сильнейшего наркотика кокаина, а также известного тем, что из него впервые было получено обезболивающее средство новокаин. Кока произрастает на склонах высоких гор в Перу и Боливии, и его название восходит к индейскому слову *кука*, измененному испанцами в *кока*.

Современное научное название этого растения звучит весьма экзотически — *Эритроксилон кока*. Слово *эритроксилон* сложное, состоящее из греческих *эритро* и *ксилон*.

Греческое *эритрос* означало «красный», оно входит в название красных кровяных клеток *эритроцитов*. Красное море древние греки называли *Эритрейским*, а в современной Эфиопии до сих пор одна из провинций на берегу этого моря носит название *Эритрея*. Греческое *эритрос* связано с древним корнем, от которого произошли слова *рубин*, *рубий*, остров *Родос*.

Греческое же слово *ксилон* (*ксиолон*) означало «дерево», «деревянные трубки, свирели», на которых любил играть бог лесов Пан. *Ксилофонами* сейчас называют музыкальные инструменты, сделанные из деревянных трубочек разной толщины, при ударе по которым издаются звуки различной высоты. В свое время, когда книгопечатание еще не было изобретено, определенные тексты и гравюры печатали с особых деревянных досок, на которых вырезали картинку и текст. Такой метод печати назывался *ксилографией*. А насекомые, которые поедают древесину, например древоточцы, называются в энтомологии *ксилофагами* (букв. «ножиратели дерева»).

Ботаники называют *ксилемой* особые водоносные трубки внутри стебля растения с одревесневшими стенками. А жидкий легко воспламеняющийся углеводород, получаемый при сухой возгонке дерева, называется *ксилолом*. Многие знают о взрывчатом веществе *пироксилине*, получаемом при химической обработке целлюлозы, или древесной клетчатки. Недаром название *пироксилин* переводится буквально как «огненная древесина, целлюлоза».

Таким образом, наименование *Эритроксилон кока* можно перевести с латыни как «краснодревесная кока». Добавление листьев

коки в сироп кока-колы обуславливает стимулирующее и бодрящее действие этого напитка.

В 1898 году родился один из главных соперников *кока-колы* — не менее знаменитая *пепси-кола*. Это произошло в небольшом городке Нью-Берне, раскинувшемся на атлантическом побережье США, где местный фармацевт занялся у себя в аптеке производством новой содовой. Звали его Калеб Брэдхем, и поскольку в силу своей профессии он не был чужд греческому и латышц, то и для названия своего напитка он взял одно из греческих слов.

Слово *пепси* является сокращенным вариантом названия фермента пищеварительного сока *пепсина*, незадолго до того открытого в Германии. Интерес к научным сообщениям об исследованиях пищеварительной системы был в то время огромный, эта область медицины и биологии переживала расцвет. В основе названия *пепси* лежит греческое слово *пепон*, означающее «созревание, приготовление пищи, смягчение чего-то».

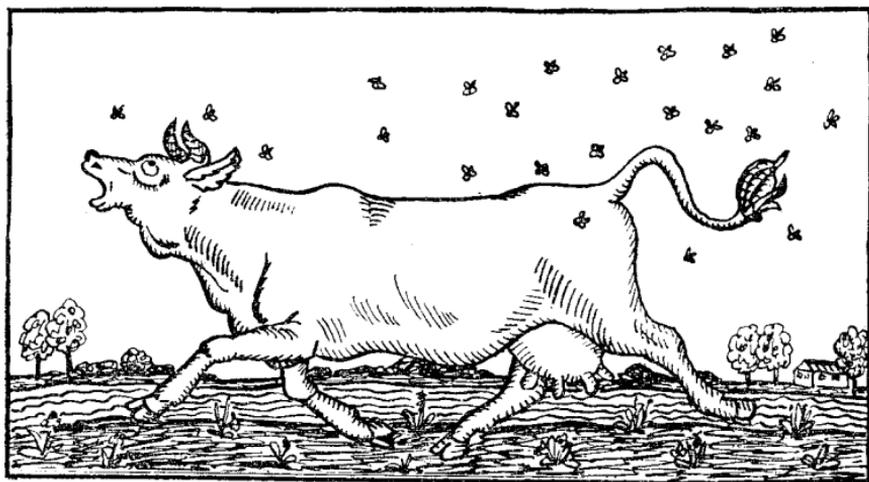
В русском языке довольно много слов, особенно среди специальной научной и медицинской терминологии, в основе которых содержится это греческое слово.

С термином *пепсин* мы сталкиваемся в школьном курсе биологии. Широко распространен термин *пептиды*, означающий то, что образуется из белка под действием пепсина. Греческое слово *пепон* находится в родстве с другими словами древнейших языков. Оно известно, в частности, из древнеиндийских текстов в виде слова *пеква* со значением «печь, варить, смягчать».

Такова история названий, связанных со знакомыми нам напитками.

В заключение отметим, что название *кока-кола* стало входить в наш язык в середине 50-х годов (Словарь-справочник «Новые слова и значения», М., 1971), а *пепси-кола* — несколько позже (Словарь-справочник «Новые слова и значения». М., 1984).

Рисунок Б. Захарова



С бзиком

В. М. МОКИЕНКО,
доктор филологических наук

Выражение *с бзиком* фактически еще не узаконено русским литературным языком, хотя в довоенном четырехтомном «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова оно уже отражено в виде контекстной иллюстрации к слову *бзык* (*бзык*) «странность, ненормальность, причуды»: «Человек с бзиком». Здесь же слово *бзык* характеризуется как разговорное и областное.

Словарь С. И. Ожегова и Малый академический словарь русского языка (2-е издание) узаконивают сочетание *с бзиком*, причем второй словарь иллюстрирует его и примером из современной литературы: «— Отец чудак был, с некоторым бзиком. Конечный. Кто смотрит на облака».

В разговорной речи слово *бзык* или *бзык* можно услышать как в свободном употреблении, так и в составе устойчивых оборотов *бзык нашел* (*напал*), *бзык заиграл* и т. д. Писатели используют их обычно как речевую, чаще всего просторечную характеристику персонажа: «[Геннадий:] ...Встречаю я, представляешь, себя самого. Рост, фигура, пальто, голос. Одним словом — я. Бродил целую ночь за собой. ...[Дубравин:] (недоумеая). Галлюцинация, что ли? [Геннадий:] Вроде этого. Бзык. Пустяки» (Романов Б. Огненный мост); «Оськи Лямкина, свата моего, телок — месяцев пяти, черный, большой, Бзык заиграл и в церковь ворвался» (Нови-

ков-Прибой. Цусима); «— Тут-то, господи вахмистр, и пападает на скотину бзык» (Шолохов. Тихий Дон).

Как видим, обороты *бзык заиграл* и *бзык напал на кого-л.* могут относиться и к животному, и к человеку, которые начинают вести себя странно, сумасбродно. Такое единство семантической характеристики не случайно: этимологи связывают значение слова *бзык* «странность, причуда» с его исходным значением — «слепень, овод» и далее — «рев и беготня скота от овода», «беспокойное поведение» (М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка; Этимологический словарь русского языка, автор-составитель Н. М. Шанский, т. 1, вып. 2, М., 1965). Первичность «этимологического» значения несомненна, поскольку слово *бзык* (*бзык*) образовано от звукоподражания *bzi-/bzy-* (ср. *жук* и *жужжать*, *букашка* и *букать*). Следовательно, развитие значения шло, как полагают этимологи, по линии «слепень, овод»→«беготня скота от укусов овода»→«беспокойное поведение животного или человека»→«странности, причуды в поведении животного, человека».

В целом такая линия семантического развития верна. Она, однако, излишне «материализована» и не учитывает некоторых языковых нюансов, существенных для историко-этимологического толкования слова *бзык* и фразеологизмов, образованных на его основе и, в свою очередь, обогативших это слово семантически.

Словарь под редакцией Д. Н. Ушакова, Малый академический словарь и «Этимологический словарь русского языка» под редакцией Н. М. Шанского трактуют слово *бзык* как заимствование из польского, считая тем самым, что отмеченное выше семантическое развитие произошло именно в языке-источнике. Действительно, польское *bzik* имеет значение «причуда, странность», а *bzyk* «жужжание». Характерна фразеологическая переключка русского и польского языков: та *bzika* «у него бзык, причуды, странности» соответствует русскому *он с бзиком*, а *dostal bzika* (букв. он получил бзык) — русскому *на него бзык нашел (напал)*. Показательно, что в литературном польском языке эти выражения имеют тоже относительно позднюю фиксацию — не ранее 1860 года.

Исконность слова *бзык* и соответствующих выражений в нашем языке легко подтвердить, обратившись к данным русских диалектных словарей. Они фиксируют его на разных территориях России, прежде всего — в южнорусских, среднерусских и смешанных сибирских говорах. По данным «Словаря русских народных говоров», в значении «приступ неистовства, необузданной ярости у скота из-за сильной жары и укусов оводов» слово *бзык* (*бзык*)

отмечено в пензенской, псковской, смоленской, астраханской, донской диалектных зонах, причем записано во многих случаях еще в прошлом веке. Отражено оно и Словарем В. И. Даля, который отмечал его как пензенское в значении «рев и беготня скота, коров, от овода и жара» и привел ряд глагольных образований от того же корня — *бзы́рить, бзы́рять, бзы́риться* «о рогатом скоте: рыскать в знойное и оводное летнее время, задрать хвост, п реветь; беситься, метаться». Приводится здесь и синонимический ряд — *зык, бызы́, строкá, дрок*.

Связь звукоподражания, наименования слепней и реакции скота на жужжание и укусы этих насекомых хорошо демонстрирует запись 1882 года одного из таких слов — *бызы!* этнографом Магницким в Уржумском уезде Вятской губернии: «Таким звуком дети пугают летом лежащих коров, вызывая в них представление о присутствии надоедливых паутов (слепней); заслышав бызгание, коровы вскакивают и, задрать хвосты, мчатся, чем и доставляют удовольствие детям» (Словарь русских народных говоров). Не случайно поэтому и слово *зык*, и многие его звукоподражательные синонимы обнаруживают своеобразное единство значения. Так, южнорусское *зык* обозначает и «мошкору, оводов, мух, от которых бесится летом скот», и «время года, когда мошкара, оводы особенно сильно кусают скот», и «волнение, буйство скота от оводов и жары».

Учитывая такое единство, можно понять смысловую логику соединения слова *зык* (*зык*) с глаголами или с предлогом *с*. Сочетания *зык нашел* (*напал*) первоначально в народной речи имели конкретное значение, характеризуя слепней, кусающих скот и доводящих их своими укусами до бешенства. Такое употребление и отразил, как мы видели, в «Тихом Доне» М. Шолохов, именно так различные варианты этого выражения используются в современной диалектной речи разных районов: «Напал зык, говорили на коров, от жару они бесются и пауты их облепют» (новосиб.); «На телят и коров нападает зык» (ворон); «Зык идет в май месяцы, скатина зыкаить, казяфка шпигущая кусаить иё, ана хвост задирать и пашла дамой, никто ни удержыть, хоть и вирхом диржы. Бяжить ф халадок, ф станицу» (донск.); «Сяини нъ кароу зык напау, дужа вапни их кусали» (смол.).

Образ обезумевшего от слепней животного столь ярко, что он не мог не стать в народной речи метафорой, характеризующей и человека. В некоторых говорах эти два употребления бытуют одновременно. Так, даже в пределах одной деревни *зык нашел* (*напал*) говорят и о человеке, который отказался от кого-либо, чего-либо, рассердившись, и о животных, которые убегают, спа-

сясь от насекомых (Андреева Ф. Т. О диалектной фразеологии села Суворы Камышловского района Свердловской области.— Лексика и фразеология говоров Урала и Зауралья. Свердловск, 1978). Ср. также сиб. *нашел бзык на кого* «беспричинно рассердился» или *ворон. зук находит* «о состоянии беспокойства»: «— От мужик.., опять нашел на него бзык, лается и лается...» (Фразеологический словарь русских говоров Сибири. Под ред. А. И. Федорова. Новосибирск, 1983); «На рибёнка зук находя, кричить што есть магу-ты» (Вопросы фразеологии, вып. VI, Самарканд, 1972).

Подобную семантическую двойственность можно отметить и в белорусских оборотах *бзык (зык) напад* «о неожиданно рассердившемся, заупрямившемся человеке», зафиксированных еще в прошлом веке. Они сохраняют связь слова *зык. (бзык)* с спокойным состоянием скотины от укусов слепней, о чем свидетельствует пословица *Корову б'юць за зык, а бабу за язык.*

Переключению сферы употребления оборота *бзык нашел* с описания поведения животного на экспрессивную оценку поведения человека способствовала весьма активная для восточнославянских языков фразеологическая модель, в которой существительное имеет абстрактно-психологическое значение: *блажь нашла, дурь нашла на кого* «кто-либо стал вести себя странно, с причудами, ср.— урал. *блязь нашла на кого* «кому-либо что-то привиделось, померещилось»; влад. *голмянó нашло на кого* «кто-либо впал в тяжелое душевное состояние, сопровождающееся приступами гнева, скорби, безумия»; диал. *дйконькое нашло на кого* «кто-либо стал умопомешанным, психически перормальным»; свердл. *дур нашел на кого* «кто-либо начал сумасбродствовать»; *ма́на находит на кого* «кому-либо что-то видится, мерещится»; *столбняк нашел на кого* «кто-либо остановился в недоумении»; белор. *шал нападает на кого* «кто-либо становится очень раздражительным» и т. д. Ср. широко известное в речи *на него находит*, представляющее «сгущенный» вариант таких оборотов.

Все эти народные выражения, как видим, относятся исключительно к человеку. В эту модель вливались поэтому различные существительные, первоначально не имевшие абстрактно-психологического значения, по относящиеся к сфере духовной жизни человека. Историю одного из таких выражений — *стих нашел* «кто-либо поддался какому-нибудь настроению» — детально описал В. В. Виноградов, показавший, что несмотря на заимствованный характер слова *стих* (греч. *stichos* «стихотворение»), вся семантическая структура выражения и данного слова «обвеяна русским народным духом, народным миропониманием...» (Виноградов В. В. Историко-этимологические заметки. V.— Этимология 1968,

М., 1974). *Стих* в народном употреблении стал означать «заговор», особенно такой, с помощью которого на человека насылается порча. Народный оборот *бзык нашел*, несмотря на кажущуюся семантическую удаленность его стержневого слова от *стих* «заговор» сходен теперь с выражением *стих нашел* по переносному значению. Любопытно, что слово, этимологически близкое к *бзык* — *озык*, в народной речи имеет также значение «сглаз, порча» или вообще «болезнь с паговору злого знахаря», по характеристике Словаря В. И. Даля, который приводит и сочетания с этим словом — *с озыку сталося, озык наслан*.

Как видим, прозаическая на первый взгляд метафора, связанная с укусами оводов, неожиданно обнаруживает связь с суеверными представлениями о порче и сглазе. Еще более глубоким оказывается мифологический подтекст оборота с *бзыком*. Что бы этот подтекст обнаружить, нужно сопоставить русское выражение с аналогичными оборотами других языков.

О том, что оборот с *бзыком* — устойчивое, а не свободное словосочетание, свидетельствует прежде всего его стабильная фиксация в разных народных говорах: «Манька — деука с бзыком у нас, любой номир выкинуть» (смол.); «Ана з децтва з бзыкам» (дон.) и т. д. Ср. также белор. *быць с бзыкам* «иметь причуды, странности в поведении». С *бзыком* буквально соотносится с уже упоминавшимся польским *ma bzika*.

На первый взгляд, переносное значение русского, белорусского и польского оборотов вытекает из переносного значения слова *бзык* (*bzik*) — «причуда, странность». Языковые факты, однако, заставляют усомниться в такой расшифровке.

В «Смоленском областном словаре» 1914 года В. Н. Добровольский к слову *бзык* «странность, недочет в умственных способностях» приводит любопытный вариант пашего выражения — *у яго в голове здаровый бзык сядить*. Он мог бы показаться окказиональным, если бы не польский оборот *ma bzika w głowie* (букв. у него бзык в голове), который фиксируется с 1861 года многими источниками. Другие варианты этого выражения — *ma maleńkiego bzika* (у него маленький бзык), *ma tegiego bzika* (у него здоровенный бзык), *ma srogiego bzika* (у него свирепый бзык); *każdy ma swego bzika* (у каждого — свой бзык) — заставляют еще больше усомниться в том, что *bzik* здесь — обозначение абстрактного психологического качества человека. Скорее всего перед нами конкретный, хотя для современного человека и довольно странный, образ — «у него овод в голове», «он с оводом в голове».

С точки зрения индоевропейской мифологии этот образ, однако, весьма логичен. По суеверным представлениям, именно в слеп-

ней, мух, жуков или других насекомых мог оборачиваться дьявол, проникая спящему человеку в нос, рот или ухо и делая его тем самым бесноватым.

В русском просторечии бытуют выражения *с мухами в носу* или *с тараканами в носу*, характеризующие чудаковатого, с причудами человека. Они соответствуют белор. *з мухамі ў галаве* или *мае мухі ў носе*, польск. *ma tuchy w nosie* (у него мухи в носу), чеш. *ma v hlavěouchy* (у него в голове мухи) «у него причуды, странности», болг. *влязла му муха в главата* (ему в голову влезла муха) «его беспокоит какая-то навязчивая мысль», сербохорв. *имати мухе у глави* «быть придурковатым, чудаковатым, глуповатым». В конечном счете, как показал в специальном очерке В. В. Виноградов, такие мифологические ассоциации привели к образованию русского фразеологизма *под мухой* (см. его статью «О серии выражений *муху зашибить*, *муху задавить* и *под* — Русская речь, 1968, № 1), ибо состояния опьянения и сумасшествия, чудаковатости — весьма близки друг другу.

Характерно, что обороты со словом *муха* имеют и другую структуру — типа *бзык нашел (напал)*. Ср. *какая его муха укусила*, белор. *шалёная муха ўкусіла за вуха* и кашуб. *gzik go kōsil* (его укусил овод) и одновременно *ma gzika* (у него овод) «не все дома у кого-либо». Это еще раз свидетельствует о тесной связи выражений *бзык нашел* и *с бзиком (в голове)*.

О. А. Терновская, недавно подробно исследовавшая представления славянских народов, связанные с моделью *мухи в голове*, верно подчеркивает, что обороты такого типа «метафоризируют максимально длинный ряд разнообразных внутренних состояний и настроений человека. С их помощью говорят о глупости, сумасшествии, упрямстве, безрассудстве, легкомыслии, капризе, опьянении, гневе, коварстве, тайных замыслах, смелости, отваге, хитрости, уме, сообразительности, предстоянии перед смертью, колдовском знании, поглощенности настроениями, связанными с навязчивыми, подстрекающими, тяжелыми, дурными, грустными и т. п. мыслями...» (Терновская О. А. Ведовство у славян. II. Бзык (мухи в голове). — Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984).

Фразеологические следы подобных суеверных представлений остались во многих языках. Вот лишь несколько наугад выбранных выражений: белор. *мае чмялі ў носе* «пьяный» (букв. у него шмели в носу), *мае фомфры ў носе* (у него мухи в носу) «капризный»; укр. (харьк.) *від горілки гудуть джмелі в макітри (голові)* «о пьяном»; польск. *ma gzika (bąka, owady) w głowie* (у него овод в голове), *ma fafry w nosie* (у него мухи в носу), *ma sierszenie w*

nosie (у него шмели в носу); чеш. má v hlavě svrčky (у него в голове сверчки), má komáry v hlavě (у него комары в голове); нем. Grillen im Kopf haben (иметь в голове сверчков, кузнечиков), Raupen im Kopf haben (иметь в голове гусениц), Motten im Kopf haben (иметь в голове мотей), Mücken haben [im Kopf] (иметь в голове комаров); фр. avoir l'araignée [dans la tête] (иметь паука в голове); англ. to have a bee in one's bonnet (иметь пчелу в шляпке) и под. Показательно при этом, что многие энтомологические наименования — подобно рус. *бзик* — в соответствующих языках отрываются от фразеологизмов и употребляются в самостоятельном значении «странность, чудаковатость, капризность». Таковы, например, немецкие слова Grille «кузнечик, сверчок» и «причуда, каприз», Mücke «комар» и Mücke «каприз, причуды, норы», Motte «моль» и «причуда, каприз» и под. Все эти обороты и произведенные от них слова имеют значения, сводимые к характеристике странного, чудаковатого и капризного человека, — такого, на которого «находит».

В формировании современного значения слова *бзик* «странности, причуды», таким образом, сыграли большую роль фразеологические сочетания, от него образованные. С одной стороны, это значение формировалось в сочетании *бзик нашел (напал)*, первоначально характеризовавшем обезумевшее от укусов овода животное, а потом — рассерженного, выведенного из себя человека. С другой же стороны, оно отразило ассоциации, рожденные оборотом *с бзиком (в голове)*, восходящие к древним суеверным представлениям о причинах сумасшествия и странного поведения. Так конкретно-вещественные наблюдения над окружающими явлениями и их мифологическое переосмысление сплелись в единый семантический узел.

Рисунок Ю. Панипартовой

Ремонтер

С. И. АЛАТОРЦЕВА,
кандидат филологических наук

Впервые это слово было зафиксировано в «Настольном словаре для справок по всем отраслям знания» под редакцией Ф. Толля и В. Р. Зотова (1863–1864). Значение его объяснялось так: «Лицо, которому поручается покупка лошадей». В «Толковом словаре живого великорусского языка», составленном В. И. Далем, значение слова уточнялось: «*Ремонтер* — отправленный из полку офицер для закупки лошадей». В таком значении это слово употреблялось в русском языке второй половины XIX — начала XX века. «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах включает слово *ремонтер*, иллюстрируя его примерами из русской классической литературы:

Ремонтер — офицер дореволюционной армии, занимающийся закупкой лошадей для ремонта. «Давай,— говорит,— станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили» (Лесков. Очарованный странник). И далее: «Попасть в полковые ремонтеры издавна в русской армии считалось большой удачей жизни, хотя и требовало известного знания лошадиных статей и повадок коннозаводчиков и барышников» (Сергеев-Ценский. Зауряд-полк).

Образовалось это существительное от слова *ремонт* (франц. *remonte*) с устаревшим ныне значением — «пополнение убыли лошадей в войсках» с помощью суффикса *-ёр*.

Слово *ремонтер*, обозначающее военного, специалиста по лошадям, мало кому известно в наши дни, оно стало историзмом, то есть обозначением исчезнувшего явления, понятия.

В то же время у этого слова в русском языке последних лет появился «двойник», который образовался от слова *ремонт* в значении, актуальном для нашего времени — «устранение повреждений, изъянов в чем-либо с целью приведения его в исправное состояние». Это новое слово, или неологизм, существует в языке с 60-х годов и употребляется в значении «ремонтный рабочий». Оно образовано по известной модели: существительное и суффикс *-ёр* (*билетер, киоскер, лифтер, шахтер* и мн. др.),

В Картотеке новых слов русского языка (Ленинград) отражены следующие употребления слова *ремонтёр*: «Ребята из 82-го детского сада еще в начале июня уехали на дачу, а вернулись в конце августа. Казалось, времени более чем достаточно, чтобы отремонтировать садик. Да куда там. В их саду ремонтёры из городского ремонтно-строительного треста палец о палец не ударили» (Комс. правда, 1965, 26 сент.); «Каналы содержатся в порядке. Все лето изо дня в день этим занимаются три русловых ремонтёра...» (Сельская жизнь, 1973, 12 окт.); «В прошлом году для ухода за осушительными каналами в республике понадобилось более 10 тысяч русловых ремонтёров. И это в горячую летнюю пору! Чем же вооружен ремонтный рабочий? Как и многие годы назад, в основном дедовской косой да лопатой» (Сельская жизнь, 1975, 17 июня).

В последнее время у слова *ремонтёр* зафиксировано еще одно значение — «машина, специально оборудованная и предназначенная для ремонта дорог». Возникло и устойчивое сочетание слов — *дорожный ремонтёр*. В наше время механизации и автоматизации труда, как известно, ручной труд сменяется машинным, а название переносится с человека, выполняющего ту или другую функцию, — на механизм, заменяющий работника. Это экономичный и удобный принцип организации нашего языка, находящегося в постоянном развитии, движении.

Ленинград

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Что такое репелленты?»

Т. Ф. Сотник, Тульская обл.

Репелленты (от латинского *repello* — отталкиваю, отгоняю) — средства и вещества для отпугивания насекомых, птиц.

За знакомой строкой

Цикада, стрекоза или кузнечик?

К. А. ЧЕКАЛОВ

Басня И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей», увидевшая свет в 1808 году, принадлежит к числу наиболее известных, хрестоматийных произведений писателя. Герои этой басни воплощают в себе противоположные свойства человеческой природы: трудолюбие, бережливость, здравый смысл (Муравей) и беспечность, легкомыслие, небокопительство (Стрекоза). Как и во многих других своих произведениях, Крылов воспользовался в данном случае сюжетом басни Жана де Лафонтена «Цикада и Муравей» (или, точнее, «Цикада и Муравыха»). Последняя, в свою очередь, восходит к одноименной басне греческого сочинителя Эзопа.

Насекомое, которое выводит в своей басне Лафонтен, — цикада — чрезвычайно распространено на юге Европы, в особенности в странах Средиземноморья. «Пение» цикад, о котором часто упоминают авторы разных эпох — результат вибрации маленькой сухой перепонки, так называемой «цимбалы». Энтомологи называют эти звуки стридуляцией. Стрекожут у цикад только самцы, причем чрезвычайно громко — они могут совершенно заглушить спокойно беседующих людей. По словам А. И. Куприна, создается впечатление, будто «триста тысяч опытных, ловких, но нетерпеливых часовщиков заводят наперегонки все часы в своем магазине, но только крик цикад раз в сто громче» (Мыс Гурон). Писатель, наблюдавший за поведением этих насекомых в окрест-

ностях Марселя, справедливо полагал, что пение цикад имеет целью привлечь внимание самок, что это «песнь любви». Стрекотание чрезвычайно высоко ценили древние греки.

Само слово *цикада* греческого происхождения. До настоящего времени некоторые словари относят его к разряду



звукоподражаний; но более вероятно, что это результат сложения слов *киккос* «мембрана» и *адо* «я пою».

Во многих произведениях античных поэтов можно встретить упоминания о цикаде, а Анакреонт и Мелеагр Гадарский посвятили этому насекомому свои стихотворения. Последний писал:

Ты, моей ночи утеха, обманщица сердца, цикада,
Муза — певица полей, лиры живой образец!
Милыми лапками в такт ударяя по крылышкам звонким,
Что-нибудь мне по душе нынче, цикада, сыграй...

Мелеагр Гадарский. *Цикада*

В заключение стихотворец обещает принести цикаде в подарок «свежей чесночной травы с каплями чистой росы». Эта деталь не случайна: греки ошибочно полагали, что цикада питается росой, в то время как на самом деле в ее «рацион» входят соки растений. По свидетельству Аристотеля, греки, при всей их любви к пению цикад (которые содержались в некоторых случаях в клетках, как певчие птицы), не гнушались использовать их как лакомое блюдо. А историк Фукидид утверждал, что афиняне закалывали волосы булавками в форме цикады.

Во французском языке слову *цикада* соответствует *sigale*, впервые зафиксированное в XV веке. Во «Всеобщем словаре» А. Фюретьера (1690) приводится достаточно исчерпывающее описание этого насекомого, а также происхождения самого слова во французском языке. Казалось бы, во времена Лафонтена (он жил с 1621 по 1695 год) значение слова *sigale* было для французов однозначным. Тем не менее Цикада из басни «Цикада и Муравей» больше напоминает зеленого кузнечика, насекомое из другого биологического отряда. В частности, Лафонтен пишет: «У ней не было ни кусочка//Мухи или червячка» (подстрочный перевод наш.— К. Ч.). Этот «рацион» под стать не травоядной цикаде, а «хищному» кузнечику: известный французский энтомолог XIX века Ж.-А. Фабр называет последнего «усердным истребителем насекомых» («Жизнь насекомых»). Далее в басне читаем: «Она отправилась... к своей соседке муравьи-хе//С просьбой одолжить ей//Несколько зерен...» (подстроч-



ный перевод наш.— К. Ч.). По свидетельству того же Фабра, пойманные им кузнечики охотно поедали зерно.

Все это подтверждает мнение, высказанное составителями словаря «Большой Энциклопедический Ларусс» (т. 3, 1961): «авторы часто путают цикад с кузнечиками. Так происходит у Лафонтена, в басне которого цикада — на самом деле большой зеленый кузнечик (*Tettigonia veridissima*)». Как указывается далее в «Ларуссе», скрытая подмена одного насекомого другим связана со сравнительно небольшой распространенностью цикады в северных районах Франции. И действительно, Лафонтен был родом из Шампани, то есть северянином; для него кузнечик был более привычным насекомым.

Кузнечика и цикаду, хотя они и относятся к различным отрядам, объединяет «пение» (при этом звуковые органы кузнечиков расположены на крыльях и представляют собой более сложное, чем у цикады, устройство). Казалось бы, что общего между упомянутыми выше представителями класса насекомых и стрекозой? Пожалуй, только треск крыльев стрекозы при полете может напомнить (весьма отдаленно!) стрекотание кузнечика.

Тем более удивительным кажется на первый взгляд то обстоятельство, что во всех русских пересказах басни Лафонтена «цикада» регулярно заменяется на «стрекозу». Мы имеем в виду произведения А. П. Сумарокова, И. И. Хемницера, Ю. А. Нелединского-Мелецкого — все они относятся ко второй половине XVIII века — и, разумеется, басню Крылова:

Все лето стрекоза в то только и жила,
Что пела...

И. И. Хемницер

В зиме лето подавня
Просит жалко стрекоза...

А. П. Сумароков

Лето целое жужжала
Стрекоза, не знав забот...

Ю. А. Нелединский-Мелецкий

Во всех четырех баснях (и в особенности, пожалуй, у Нелединского) стрекоза сильно напоминает все того же зеленого кузнечика. Ясно, что баснописцы стремились приблизить сюжет Лафонтена к русской действительности и потому избегали употреблять новое для языка слово *цикада*. Национальный колорит особенно ощутим, конечно, в басне Крылова, с ее стилизацией под фольклор и использованием созвучного русской традиции

четырёхстопного хоря. Поэтому сама по себе трансформация «цикады» в данном случае совершенно естественна.

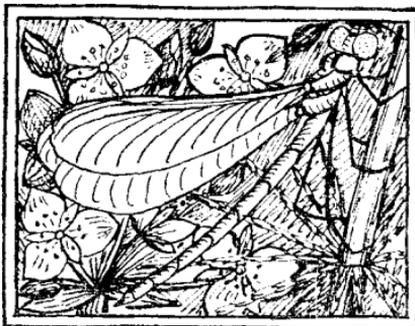
Но как объяснить, что *стрекозой* в русских вариантах басни назван, в сущности, кузнечик? На этот вопрос отвечает статья В. А. Плотниковой-Робинсон «Стрекоза или кузнечик?», опубликованная в одном из выпусков «Лексикографического сборника» (Вып. 3. М., 1958). Как показывает ее автор, в конце XVIII — начале XIX века слова *стрекоза*, *кузнечик*, *саранча* и *кобылка* разграничивались недостаточно четко. Немаловажную роль играло, видимо, и то обстоятельство, что в древнерусском языке стрекоза и кузнечик обозначались одним словом — *пруг*. В. А. Плотникова-Робинсон приходит к выводу, что «для одного и того же предмета существовало в языке два названия: одно научное, терминологическое, другое — общее название, точно не закрепленное за определенным предметом». В живом языке *кузнечик* и *стрекоза* часто употреблялись как синонимы. Что же касается дву- и трехязычных словарей того времени, то и они зачастую давали противоречивые сведения. Интересующее нас слово *sigale*, например, переводилось, то как *стрекоза* (Российский с немецким и французским переводом словарь... СПб., 1780), то как *кузнечик* (Полный русско-французский словарь. СПб., 1824).

Между тем во времена Крылова слово *цикада* уже было известно русскому языку, хотя и не нашло отражения ни в «Новом словотолкователе» Н. Яновского (1803—1806), ни в «Словаре Академии Российской». Об этом свидетельствует перевод «Илиады» Гомера, выполненный Н. И. Гнедичем в начале XIX века:

Старцы, уже не могучие в брани, но мужи совета,
Сильные словом, цикадам подобные, кои по рошам,
Сидя на ветвях дерев, разливают голос... звонкий...

В то же время, переводя уже упоминавшееся выше стихотворение Анакреонта о цикаде, тот же Гнедич предпочитает произвести лексическую замену: О счастливцев, о кузнечик,
На деревьях на высоких
Каплею росой напьешься
И, как царь, ты распеваешь...

Нечеткое разграничение «цикады», «стрекозы» и «кузнечика» сохраняется и у поэтов середины XIX века. Ряд ците-



ресных примеров тому содержится в статье В. А. Плотниковой-Робинсон. Приведем, в дополнение к ним, еще несколько цитат. В стихотворении М. А. Дмитриева «Вечер в лесу (*В Зыкове*)» (1844) есть такие строки:

Невидимо стрехчет в высокой
Траве стрекоза...

Интересно, что у Дмитриева стрекоза не только издает несвойственные ей звуки, но и прячется в траве, что опять-таки характерно более всего для кузнечика. А вот в позднейшем стихотворении В. А. Жуковского «Мальчик с пальчик» (1851) слово *цикада* явно употреблено в значении «стрекоза»:

К нему золотые
Цикады слетались
И с ним забавлялись,
Кружась с мотыльками,
Жужжа и порхая
И ярко сверкая
На солнце крылами...

Более сложный случай представляет нам поэтический словарь А. К. Толстого. В его стихотворении «Где гнутся над омутом лозы...» (1840-е годы) стрекозы как бы «одушевляются» — в еще большей степени, чем цикады у Жуковского:

Под нами трепещут былинки,
Нам так хорошо и тепло,
У нас бирюзовые спинки,
А крылышки точно стекло!
Мы песенку знаем так много...

Вряд ли в данном случае имеет смысл задаваться вопросом о том, какое именно насекомое имел в виду поэт. В стихотворении немало точных в энтомологическом отношении деталей, указывающих на то, что речь идет о стрекозе. Но в лирике Толстого авторский вымысел всегда сочетается с заведомыми «поэтизмами» (о сознательной «литературности» поэзии А. К. Толстого см. напр.: История русской поэзии. Т. 2. Глава 3. Л., 1969). Именно такой характер носит использование им мотива «поющей стрекозы», достаточно распространенного в русской поэзии XIX века. В еще большей степени сказанное относится и к позднему стихотворению поэта «Сватовство» (1871):

Теперь в ветвях березы
Поют и соловьи,
В лугах поют стрекозы,
В полях поют ручьи...

«Поющая стрекоза» и здесь не отсылает читателя к какому бы то ни было эмпирическому опыту; это лишь поэтическая формула, необходимое звено в картине весеннего пробуждения природы.

В начале XX века происходит окончательное смысловое размежевание слов *цикада*, *стрекоза* и *кузнечик*. Об этом свидетельствует творчество И. А. Бунина, где каждое из этих слов связывается с вполне определенным видом насекомого.

И всю ночь хрустальными ручьями
Звон цикад журчит среди камней (1913)

Из всего сказанного становится ясным, что произведенная Крыловым замена *цикады* на *попрыгунью-стрекозу* отнюдь не связана с его недостаточно глубокими познаниями в области биологии. Последняя точка зрения выражена в шеститомной «Жизни животных» (т. 3. М., 1969): «И. А. Крылов в энтомологии был не силен и перевел слово „*sigale*“ („цикада“) как „стрекоза“. Но в таком случае невеждами оказываются и Баратынский, и Лермонтов, и Жуковский, и многие другие поэты. Речь идет не об индивидуальных познаниях того или иного автора, но о любопытном явлении языка на определенном историческом этапе его развития.

Рисунок Ю. Панипартовой

За знакомой строкой

Зеленый шум

А. Я. ОПРИШКО,

кандидат филологических наук

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Кому не знакомы эти ставшие хрестоматийными некрасовские строчки?

Стихотворение Н. А. Некрасова «Зеленый Шум» впервые появилось в печати в 1863 году. В нем, как и во многих других, проявилась удивительная особенность поэтического дарования Некрасова: голос поэта как бы сливается с голосом человека из народа в одно органическое целое.

Буйное цветение природы в стихотворении «Зеленый Шум» видимо и осязаемо.

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клец...
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему...



Что же такое — *Зеленый Шум*?

Это выражение никто из русских писателей — предшественников или современников Некрасова — не употреблял. Ни разу не встречается *Зеленый Шум* в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. Не упоминает *Зеленый Шум* такой авторитетнейший источник, как Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля. Не найдем его в «Словаре церковнославянского и русского языка»

1847 года и других словарях, современных Некрасову. Таким образом, «опереться» на какой-либо другой контекст, кроме некрасовского, в понимании этого образа мы не можем.

В то же время необходимость объяснения выражения *Зеленый Шум* косвенным образом подтверждает и сам автор, снабдив первое издание стихотворения примечанием: «Так народ называет пробуждение природы весной».

В какой же именно части России пробуждение весны называют *Зеленым Шумом*? Поэт хорошо знал жизнь крестьян Ярославской и Новгородской губерний, по там этот образ не бытует. Более того, как отмечали некоторые исследователи, в русском фольклоре этот образ не встречается вовсе (См.: Н. Ашукин. Как работал Некрасов).

Кроме того, обращает на себя внимание такая особенность. В тексте стихотворения *Зеленый Шум* пишется с прописных букв, как собственное имя, а *весенний шум* — со строчных, как нарицательное. Случайно ли это?

В общем-то мы понимаем это выражение. *Зеленый Шум* — это сложная, контаминированная метафора, содержащая указание как на зрительные (зеленый), так и на звуковые (шум) признаки явления. Этого, однако, недостаточно, поскольку такое понимание — не более, чем догадка...

В то же время многое становится понятным, если мы обратимся к другим славянским источникам. Так, например, в украинской литературе образ «зеленого шума» оказывается довольно обычным. В поэме «Изоolda Белорукая» Леси Украинки (перевод П. Антокольского) читаем:



Тристан, в лесу блуждал,
Ловил зеленый шум,
Ему хотел поведать
Тоску любовных дум.

Свою повесть «Великий шум» И. Франко начинает так: «Идет, гудит великий шум! Великий шум, зеленый шум!». В балладе «Ренегат» И. Манжуры находим: «Шум зеленый ветви развеивает». В поэме советского украинского поэта В. Сосюры «Красногвардеец» встречаем: «Зеленый шум плывет над нами...» И в этом нет ничего удивительного: этот образ широко употребителен в

украинском устном народном творчестве. Исследователи украинского фольклора отмечают распространение на всей территории Украины древней ритуальной песни девушек — «веснянки»:

Ой, пумо, пумо в Зеленого Шума!
 Ой, в нашого Шума — зелена шуба,
 А в Шумихи голубая,
 Бо Шумиха молода!
 Ой, Шум ходить по діброві,
 А Шумиха рибу ловить...

«Словник української мови» (т. 11, 1980) объясняет *Зеленый Шум* как название мифологического существа, упоминаемого в песнях, которыми сопровождается особый танец — *шумка*. *Шумиха* — это также мифологическое существо, запечатлевшееся в идущих из глубокой древности языческих «веснянках». Согласно верованиям древних славян, Зеленый Шум ведал пробуждением растительности после долгой зимы, буйным цветением ее. *Шумиха* — жена *Шума* — «отвечала» за рыбную ловлю, которая начиналась в это же время.

Славянский языческий пантеон включал в себя многочисленные божества — Ярилу, Морену, Кострому и проч. Зеленый Шум и Шумиха относились к низшему разряду мифологических существ-духов, связанных с пространством от дома до леса и болота; такими у славян были домовые, лешие, водяные, русалки, вилы, лихорадки, мары, моры, кикиморы, судички и проч.

Можно предположить, что Зеленый Шум — это общеславянское божество. У древних чехов, как упоминает Неплах из Опатовиц (XVI в.), был бог *Zelu* (или *Zeloň*), чье имя свидетельствует о связи с культом растительности. К. Шейковский (Быт подоляц, т. I, в. I, Киев, 1859) упоминает о фольклорных источниках, родственных рассматриваемым, у поляков. Косвенным свидетельством может служить и бытующий у поляков танец «шумка».

В русском фольклоре образ Зеленого Шума не сохранился. Но то, что живые языческие верования и обряды, связанные с празднованием наступления весны, держались на Руси долго, следует, между прочим, из «обличений» их в «Стоглаве»: «...еже первый день коегождо месяца, но и паче же марта месяца, празднование велие торжественно сотворяюще, игранья много содевашея по еллинскому (т. е. языческому.— А. О.) обычаю...»

Собственное имя древнего божества восходит к нарицательному имени: *зеленым шумом* на Украине называют густой лиственный покров на деревьях в лесу, а также шелест, им образу-

мый (см.: Словник української мови, т. 11). Толковые словари украинского языка прошлого века отмечают в качестве основного значения слова *шум* — «пена, накипь». Это же значение находим и у наших современников. Так, строчка «На піску ліг жовтий шум» из стихотворения М. Рыльского «Сдвоенная лирика» в переводе Л. Вышеславского звучит: «На камнях осела пена».

Таким образом, в основе этого имени лежит метафора — перенос значения — от «пены» к «пенящейся», буйной зелени лесов в начале весны.

Уместно вспомнить, что в болгарском языке лес обозначается словом *шума*. В польском *szumek* значит «пена (на напитках)». В. И. Даль в Толковом словаре отметил в новгородских и тверских говорах близкое к указанным значение слова *шум* — «комнатный сор, сметье». Как утверждает А. Брюкнер, это слово служило праславянским названием для лесов, ср.: чешская Шумава, сербская Шумадия и проч. (*Słownik etymologiczny języka polskiego*. Warszawa, 1970).

Известный ученый прошлого века М. А. Максимович в журнале «Русская беседа» (1856, № 1) описал свои впечатления от наблюдавшегося им зрелища — встречи весны на Днестре. «..Танок (т. е. танец.— А. О.) Шум играется на Днепровском побережье. Девчата становятся в два ключа, один за другим параллельно и при этом поют:

Ой, нумо ж ми нумо
В Зеленого Шума!
А в нашого Шума
Зелена Шуба!..

Затем оба ключа бегут разом вперед, а потом назад, распевая самым сильным голосом, сколько мбга:

Ой, Шум ходить,
По воді бродить.
А шумиха рибу ловить!

Так в этом зеленом шуме девчат отозвался Днепр, убирающийся в зелень своих лугов и островов, шумящий в весеннем разливе своем и дающий тогда полное приволье рыболовству. В одно весеннее утро я видел здесь, что и воды Днепра, и его песчаная Белая-коса за Шумиловкой, и самый воздух над ним — все было зелено... В то утро дул порывистый горишний, т. е. верховой ветер; набега на прибрежные ольховые кусты, бывшие тогда в цвету, он поднимал с них целые облака цветочной пыли и развевал ее по всему полуденному небосклону...»

Читая воспоминания М. А. Максимовича, нельзя не обратить внимание на буквальное совпадение с текстом стихотворения Н. А. Некрасова:

Играючи, расходится
Вдруг ветер верховой:
Качнет кусты ольховые,
Подымет пыль цветочную,
Как облако,— всё зелено,
И воздух, и вода!

«Невозможно допустить,— писал И. С. Абрамов, едва ли не первый, кто отметил факт буквального сходства двух текстов,— чтобы два писателя, независимо друг от друга, описывая весну, воспользовались одними и теми же словами и образами. Очевидно, Некрасов в 1863 году повторил в своих стихах ту картину, которую изобразил еще в 1856 году Максимович и которая произвела на чуткого поэта сильное впечатление» (Абрамов И. С. Происхождение стихотворения Некрасова «Зеленый Шум»,— Сб. «Звенья». М.— Л., 1935).

Как известно, ольха кустарниковая произрастает в северо-восточных районах России. Растет она преимущественно вдоль рек и ручьев на сильно увлажненных почвах. Цветет ольха ранней весной, большей частью до распускания листьев, цветы собраны в сережки. Опыляется ольха ветром... Предположить, что поэт не наблюдал весеннего цветения ольхи и не был очарован этой картиной, невозможно. Таким образом, влияние текста Максимовича могло оказаться только внешним импульсом, оживившим в воображении поэта много раз виденные им картины. По-видимому, привлек Некрасова и поэтический образ Зеленого Шума, воспринятый им отнюдь не как чужеродный...

«Заимствовав этот образ из украинской песни, опубликованной украинским этнографом и ботаником М. А. Максимовичем,— писал Н. С. Ашукиц,— Некрасов целый ряд образов заимствовал и из его комментария к этой песне» (Н. Ашукин. Как работал Некрасов). Представляется, однако, важным не сам факт заимствования. Все дело в том, насколько удачно это сделано! Этнографические очерки М. А. Максимовича остались всего лишь небезынтересными заметками, помещенными в редком издании и доступными только специалистам. Древние языческие «веснянки» под напором жизни безвозвратно ушли в прошлое. Некрасов же, по-видимому, позаимствовав поразивший его своей красотой фольклорный образ, создал качественно новый поэтический феномен — собственно некрасовский образ Зеленого Шума... Как мы уже говорили, в русском фольклоре нет образа Зеленого Шума.

Однако «парадоксальность» ситуации заключается в том, что поэт создал поистине народный образ!

Как отмечают исследователи, в некоторых случаях картины природы у Некрасова сказываются шире и разнообразнее фольклорных. Однако по своему общему характеру, по приемам изображения они остаются в рамках лиро-эпического жанра фольклора. Так, для фольклора обычно точное обозначение пород деревьев — *толстый ельничек, частый березничек, мелкий орешничек* и т. д.

Ах, зарастала та дороженька,
Эх, горьким частым осинничком,
Эх, ельничком да березничком...

Это же «видение» мира находим и у Некрасова:

Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят;
Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса;
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая березонька
С зеленою косой!

В некрасовском Зеленом Шуме отразилась творческая сила славянских народов. И не можешь не думать об их кровном родстве, когда с Зеленым Шумом перекликается Зеленый Витязь сербской поэтессы Десанки Максимович:

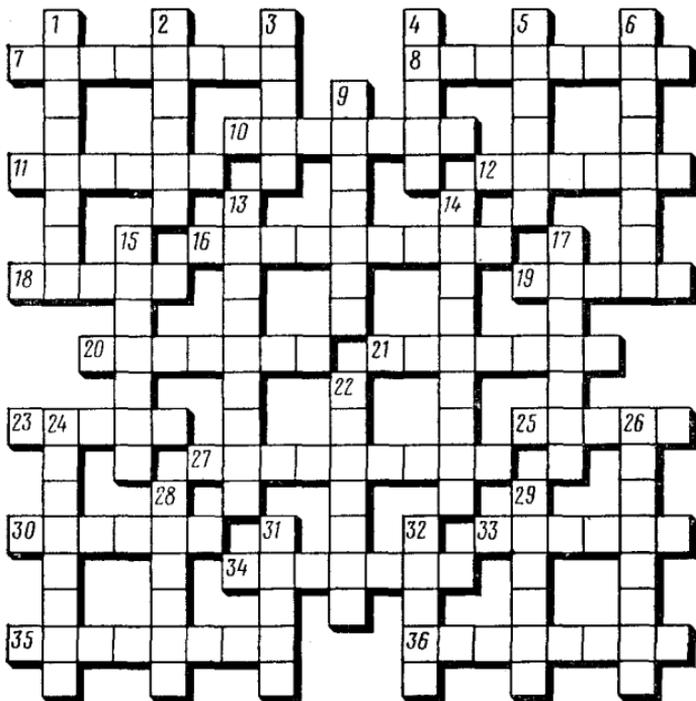
Милый! Сегодня садом витязь прошел весенний —
сколько следов зеленых видим повсюду мы!
Запах весны душистый в чащах томит оленей,
тают на темных соснах гнезда седой зимы.

Эти кусты, качаясь, двигаются, как волны.
Свежей росой землю влажный омыл аромат.
Горных ручьев извивы, словно зигзаги молний,
только еще в долинах реки, как змеи, спят.

Зеленый витязь

Харьков

Рисунок Ю. Панипартовой



КРОССВОРД

«Д. И. Фонвизин. Недоросль»

По горизонтали: 7. Окончательный уход с военной службы, к которому прибег Стародум, будучи несправедливо «обойден» чином. 8. Окрестность, где, по утверждению Простакова, все говорят, что Скотинин «мастерски» оброк собирает. 10. ... — так Милон называет свою профессию — военное дело. 11. Граф, дядя Милона. 12. Ребенок, у которого умерли родители (например, Софья). 16. Беззаботно-радостный человек, каким оказался Скотинину им же самим расщепленный Стародум. 18. Ползающее животное, упоминаемое в часослове, который читал Кутейкин. 19. Вещи Вральмана, те, что «моют» бабы в доме Простаковой. 20. Гость, постоялец Простаковых. 21. Барыня, повелительница, какой была Простакова в своем доме. 23. Хищная птица, которую упоминает Кутейкин, обзывая Вральмана. 25. Предмет, в котором Стародум оставил очки. 27. Учреждение, регистрировавшее дворянские родо-

словные; его упоминает Скотинин. 30. Продукт «из медного котлика», ставший причиной отравления и смерти троих детей в семье Скотининых. 33. Одно из оскорбительных прозвищ, получаемых Еремеевной в господском доме. 34. Карманная сумочка, которую Простакова вязала для сына, чтобы «Софьюшкины денежки было б куды класть». 35. Один из «женихов» Софьи. 36. ... — так Цыфиркин отзывается о Вральмане, которого он не прочь «прошколить по-солдатски».

По вертикали: 1. Слово, которым Простакова называет сына после его рассказа о сне, в котором «матушка... так устала, колота батюшку». 2. Обновка Митрофана. 3. Конверт с письмом официально-делового содержания, полученный Правдиным от наместника. 4. Место кучера, столь привычное для Адама Адамыча Вральмана. 5. Пробраз Митрофана, молодой дворянин, который, увидев «себя» на сцене,

бросил бездельничать, засел за учебу и в дальнейшем стал президентом Российской Академии художеств и директором Петербургской публичной библиотеки. 6. Устар. и прост. Отец. 9. Французский писатель, чью книгу о воспитании девиц читала Софья. 13. Слуга в господском доме. 14. Представитель верховной власти в тех местах. 15. Лучшие части войск, где, якобы, «служивал» Скотинин. 17. Военское звание Пыфиркина. 22. Имя прадеда Митрофана (об одном из его сыновей упоминает Скотинин, доказывая «что Скотинины все родом крепколобы»)? 24. Профессия, существование которой, по мнению Простаковой, делает зна-

ние географии не обязательным. 26. Ироническая оценка знаний Митрофана как ученика Кутейкина, сделанная Стародумом в разговоре с Простаковой. 28. ... — так Простакова называет своего отца, который «лежа на сундуке с деньгами, умер, так сказать, с голоду». 29. Маленькая тайна (что Софья «сговорена»), открытая Стародумом Простаковой и Скотинину. 31. Кто увез, по словам Милона, его возлюбленную «в свои деревни». 32. То, что Стародум «принес домой неповрежденно», когда «отошел от двора без деревень, без ленты, без чинов».

Составил В. П. Шендрик

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Мы знаем выражение *люблю молодца за обычай*. За какой обычай любят молодца?» — спрашивает москвич В. Маркин.

Об этом можно узнать из книги Н. М. Шанского «В мире слов»: «Превращению этой фразы в устойчивое словосочетание способствовала потеря словом *обычай* того значения, которое было ему свойственно в исходном переменном словосочетании: «умение, сноровка» (между прочим, первоначально слово *обычай* к своим родственникам *навык, учеба* стояло значительно ближе). Таким образом, буквально *люблю молодца за обычай* значит «люблю молодца за умение, сноровку».

Фильмография, фильмограф, фильмографический. На страницах газет и журналов, посвященных киноискусству, часто встречаются эти слова. В то же время объяснения их значений вы не найдете ни в одном лингвистическом словаре. А означают они следующее:

Фильмография — это «отрасль киноведения, изучающая методы и принципы описания фильмов в справочных работах». Например: «Коллектив института изучает также проблемы зрительского восприятия фильмов, социологии кино. В структуре института предусмотрен отдел марксистско-ленинской эстетики и теории кино, отдел исследования проблем массовой информации и социологии кино..., отдел научной информации и фильмографии» (Сов. экран, 1974, № 10).

Второе значение этого слова — наиболее употребительное — «указатель, список, справочник, снабженный различными характеристиками фильмов, заключающий в себе данные о них»: «По традиции книги о кино сопровождаются фильмографией. Верен хорошей традиции и Сергей Юткевич в своем исследовании „Шекспир и кино“. О многом говорят эти страницы: оказывается, с 1899 по 1971 год снято около 300 кинокартин, в основу которых легли пьесы Шекспира или мотивы его драматургии» (Сов. культура, 1974,

28 мая); «Одно из первых подтверждений мы находим в материалах искусствоведа профессора Г. М. Болтянского, в то время работника кинокомитета, одного из организаторов многих киносъемок В. И. Ленина. В его книге „Ленин и кино“ (Госиздат, 1925 г.) в таблице-фильмографии указываются имевшиеся в Госкино съемки В. И. Ленина во время Октябрьских праздников на Красной площади 7 ноября 1919 года...» (Сов. культура, 1974, № 90).

Теперь становится понятно, что *фильмограф* — это киновед, специалист в области фильмографии (см. первое значение слова): «Фильмографы называют экранизацию „Анны Карениной“, сделанную на „Мосфильме“, шестнадцатой по счету» (Лит. газета, 1969, 28 февр.).

Прилагательное же *фильмографический* имеет значение — «связанный с фильмографией; составляющий или представляющий фильмографию (во втором значении)»: «Наше путешествие по студии началось с самого тихого уголка этого шумного киногорода. ИМО — информационно-методический отдел. Хранилище истории „Мосфильма“, его музей. Здесь собирают фильмографические материалы по всем картинам студии: сценарии, монтажные листы, рекламы... Руководитель отдела И. Софиева перелистывает старые газеты, пожелтевшие фотографии. С. Эйзен-

штейн, В. Пудовкин, А. Довженко, И. Пырьев, М. Ромм — многие прославленные мастера, фильмы которых вошли в золотой фонд советского и мирового кино, работали в стенах „Мосфильма“» (Сов. экран, 1981, № 3); «Фильмы, созданные несколько десятилетий назад, уже

являются фильмографической редкостью, практически они недоступны, неизвестны молодежи» (Искусство кино, 1980, № 9).

*С. И. Алаторцева,
кандидат филологических наук
Ленинград*

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

«Д. И. ФОНВИЗИН. НЕДОРОСЛЬ»

По горизонтали: 7. Отставка. 8. Околоток. 10. Ремесло. 11. Честан. 12. Сирота. 16. Весельчак. 18. Червь. 19. Белье. 20. Правдин. 21. Госпожа. 23. Филин. 25. Книга. 27. Герольдия. 30. Молоко. 33. Ведьма. 34. Кошелек.

35. Митрофан. 36. Туеядец.
По вертикали: 1. Утешение. 2. Кафтан. 3. Пакет. 4. Козлы. 5. Оленин. 6. Родитель. 9. Фенелон. 13. Челядинец. 14. Наместник. 15. Гвардия. 17. Сержант. 22. Фалелей. 24. Извозчик. 26. Грамотей. 28. Эконом. 29. Секрет. 31. Родня. 32. Честь.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. С. ВАЛГИНА, И. Ф. ВОЛКОВ, В. П. ВОМПЕРСКИЙ, А. И. ГОРШКОВ, П. Н. ДЕНИСОВ, И. Г. ДОБРОДОМОВ, Л. П. ЖУКОВСКАЯ, В. В. ИВАНОВ (главный редактор), Л. М. ЛЕОНОВ, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора), Н. А. РЕВЕНСКАЯ (ответственный секретарь), Л. И. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

Заведующая редакцией
Т. С. Колмакова
Художественный редактор
Е. Н. Сапожникова
Корректоры
В. В. Беляев, М. Б. Рыбина

Сдано в набор 18.02.86
Подписано к печати 26.03.86
Т-05865. Формат бумаги 84×108/32.
Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4.
Усл. кр.-отт. 509,7 тыс. Уч.-изд.
л. 9,1. Бум л. 2,5. Тираж 59200.
Заказ 2260.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
Адрес редакции: 121019, Москва, Г-19, Волхонка, 8/12. Телефон: 202-65-25.

2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6